

Бикини

Автор:

Януш Вишневский

Бикини

Януш Леон Вишневский

Новый роман Я. Л. Вишневского «Бикини» – это история любви немки и американца, которая разворачивается в конце Второй мировой войны. Героиня романа, Анна, красива, прекрасно говорит по-английски и мечтает о карьере фотографа. Могла ли она думать, что ее лучшими работами станут фотографии уничтоженного родного города, а потом ее ждет сначала кипящий жизнью Нью-Йорк, а потом и восхитительный атолл Бикини...

Януш Леон Вишневский

Бикини

Моим родителям

Дрезден, Германия, раннее утро, среда, 14 февраля 1945 года

Ее разбудила тишина. Не открывая глаз, она скользнула рукой под свитер. Сердце бешено колотилось. Она закусила губы. Сильнее. Еще сильнее. Открыла глаза только когда почувствовала соленый вкус крови. Жива...

– Расскажешь мне сказку? Я тебе за это водички принесу. А может, сигарету. Расскажешь?

Она повернула голову в ту сторону, откуда доносился голос. На нее внимательно смотрела пара круглых голубых глазенок. Она улыбнулась.

– Можно ту же самую, что вчера, – настаивал он.

Подняв руку и не говоря ни слова, она нежно погладила растрепанные волосы мальчика.

– Утром сказки не рассказывают, – прошептала она, – сказки рассказывают вечером.

Мальчик наклонился над ней и поцеловал ее в лоб. Стебельки соломы с его светлых волос посыпались ей на лицо, попали в глаза и прилипли к окровавленным губам.

– Я знаю, но сегодня вечером я должен помолиться. И вообще, из-за этих самолетов ничего не слышно. Расскажи лучше сейчас. Пока мы еще живы...

Она почувствовала знакомое покалывание под ключицей. Только Маркус мог сказать именно так... так вот... черт, как бы это определить?! Мимоходом. Совсем просто. На выдохе, гораздо тише, чем всё остальное, почти шепотом, с надеждой, что никто не услышит. «Пока мы еще живы». Как если бы он говорил о газете, но не вчерашней, а старой, недельной давности! Поэтому она всегда вслушивалась в то, что говорил Маркус, – до последнего звука. Научилась этому год тому назад, когда они с Хайди и Гиннером воровали черешню в саду Цейсов...

У доктора Альбрехта фон Цейса был стеклянный глаз, который он прятал за кожаной повязкой, завязывавшейся на лысине, кривые ноги и огромный живот. По мнению Маркуса, это был один из самых отвратительных «пиратов без шеи», каких он только знал. Сколько Маркус себя помнил, Цейс всегда ходил в черном парадном эсэсовском мундире, коричневой рубашке, красной повязке со свастикой на левой руке и черном галстуке. Даже когда выходил в сад или на

прогулку со своей овчаркой. Глядя на него, можно было подумать, что Гитлер ежедневно празднует свой день рождения.

Изгородь, окружавшая владения Цейсов, непосредственно примыкала ко двору дома, где она жила: Грюнерштрассе, 18, в центре Дрездена. Непонятно, каким образом на главной улице с двусторонним движением могла оказаться вилла с огромным садом. Родители, когда их об этом спрашивали, только отмахивались или, понизив голос, в шутку предлагали спросить у самого Цейса. И однажды в разгар июньского дня Маркус – тогда ему было семь лет – подошел к садовой изгороди и писклявым голоском крикнул Цейсу, подрезавшему кусты роз:

– Почему у вас такой большой дом, а у нас из-за этого такой маленький двор?

Во дворе воцарилась гробовая тишина. Лицо Цейса побагровело, он сердито бросил секатор на траву, поправил на голове повязку, застегнул мундир и приблизился к Маркусу, упершись своим огромным брюхом в изгородь.

– Как тебя зовут, щенок?! Фамилия! – процедил он сквозь зубы.

Маленький Маркус, который прижимался лицом к изгороди прямо под животом Цейса, встал по стойке смирно, задрал голову вверх и гаркнул:

– Меня зовут Маркус Ландграф, немец, проживаю в Дрездене на третьем этаже!

Она помнила, что все – а двор в тот солнечный день был полон детей и взрослых – разразились громким смехом. Цейс словно обезумел. Он сжал в кулаках колючую проволоку, лицо у него налилось кровью, видно было, как дрожат его челюсти, а на губах появляется белая пена. Минуту спустя, не проронив ни слова, он повернулся и нервно зашагал к своему дому, но по дороге споткнулся о старую корзину, стоявшую под черешней, и упал. В дворе вновь раздался смех. И она, преисполненная ненавистью, смеялась громче всех...

Спустя два дня Хайди, пятнадцатилетняя сестра Маркуса, Гиннер, его старший семнадцатилетний брат, и она встретились поздним вечером, после заката, в подвале. Ветви развесистой черешни в саду Цейсов ломились от спелых ягод. Встав у изгороди и раскрыв рот, дети молча смотрели, как садовник Цейсов, стоя на лестнице, собирает ягоды. Они ждали, пока тот слезет с лестницы. К ним он никогда не подходил. Тогда Маркус примерялся и бросал в него камень. Иногда

даже попадал. Садовник не реагировал. Она вообще не помнит, чтобы он когда-нибудь вымолвил хоть слово.

В последний раз она ела черешню в день рождения бабушки, летом 1943 года. Бабушка, закрыв на кухню дверь, насыпала несколько ягод в щербатую глиняную кружку, накрыла ее серой бумагой и прихватила резинкой для волос. Для Лукаса...

– Отнесешь ему? – попросила бабушка. – Прямо сейчас. И смотри, не забудь сначала погасить свет в прихожей.

Она отнесла.

Спускаясь в тайник, оборудованный под полом в прихожей, она всегда вспоминала свою первую встречу с Лукасом. Перепуганный маленький мальчик с иссиня-черными волосами и огромными глазами-угольями сидел в самом дальнем углу тайника. То по-немецки, то на идиш он все время повторял «спасибо». А появился он однажды...

Дедушка Лукаса, доктор Мирослав Якоб Ротенберг, был практикующим врачом. В течение многих лет он принимал больных в одном из пригородов Дрездена. Бабушка Марта долгое время считала, что вообще-то врачи никому не нужны. Это было довольно странно: ведь ее муж сам был врачом. Бабушка говорила, что медицина нужна только для того, чтобы хоть чем-то занять пациента, а мать-природа сама все исправит. И считала так до тех пор, пока ее полуторагодовалый сын не заболел какой-то таинственной хворью. Сначала, вскоре после рождения сына, заразившись от пациента, скончался от туберкулеза ее муж. Теперь умирал сын. Ни один немецкий врач не мог ему помочь. И совершенно случайно, по совету знакомой польской еврейки, которая так же, как и она сама, приехала в Дрезден из Ополе, бабушка обратилась к Ротенбергу. Тот моментально распознал у больного менингит. И прописал антибиотики. Бабушка Марта считала, что невозможно почувствовать большую благодарность, чем та, какую она испытывала к этому человеку, когда после нескольких дней забытья ее сын очнулся и смог ей улыбнуться.

Поэтому, когда однажды в ее доме появился Лукас со своими родителями и они отважились спросить, нельзя ли ему «при таких обстоятельствах и в такой

ситуации побыть тут некоторое время», бабушка Марта позвала невестку и внучку.

– Мама, как ты можешь спрашивать! – воскликнула невестка и взяла Лукаса на руки.

С этого дня Лукас стал жить с ними. Под полом.

В тот вечер они должны были «помочь» садовнику Цейсов. Ну, на самом-то деле, конечно, не ему, а прежде всего черешневому дереву Цейсов. Она даже не знает, как это вышло, но неожиданно в подвал, в пижаме и галошах, с маленьким металлическим ведерком в руках вошел Маркус. Делать нечего, пришлось взять его с собой. Над садовой калиткой не было колючей проволоки...

В темноте она уплетала черешню прямо с дерева. Всего несколько штук успела бросить в плетеную корзинку. Неожиданно в одном из окон на втором этаже виллы Цейсов зажегся свет. Через мгновение раздался знакомый лай овчарки, выпущенной на балкон. Дети бросились наутек. Она была уже недалеко от изгороди, как вдруг треснула ветка и вскрикнул Маркус. Она бросилась к нему.

– Маркус, что случилось? – шепотом спросила она.

– Все в порядке, просто поскользнулся. Давно не ел такой отличной черешни! Самая крупная – на верхних ветках. У меня полное ведерко. Жаль, я не взял папину сумку. А ты как? Много собрала? – спросил он.

– Маркус, черт тебя побери, что происходит? – повторила она нетерпеливо.

– Ты вытащишь мне гвоздь из руки? – прошептал он спокойно.

– Какой гвоздь, Маркус?! – удивилась она.

– Да вот этот, – ответил он тихо и поднял вверх правую ладонь.

Бурый ржавый гвоздь, торчавший из обломка мокрой доски, насквозь пробил его ладонь и вышел с другой стороны.

– Боже мой, только не плачь...

– Вытащишь? – повторил Маркус, выплюнув косточку черешни.

Она крепко взялась за его запястье левой рукой, а правой ухватилась за доску и дернула на себя. Через минуту они были у изгороди.

Две недели спустя Ханс-Юрген Ландграф, отец Хайди, Маркуса и Гиннера, который служил инспектором отдела безопасности перевозок Центрального вокзала Дрездена, – человек спокойный и невзрачный, рахитичный, которого постоянно мучил кашель, так что казалось, он мог в любую минуту умереть, – на основании приказа «в чрезвычайном порядке» был переведен «на более ответственный пост». На Восточный фронт...

– Только не плачь, пожалуйста, – сказал мальчик, утирая ей слезы пальцами, – тут все сейчас плачут. Даже Цейс. Хайди вообще завывала и мяукала всю ночь. Как кошка Резнеров в марте. Я из-за этого спать не мог.

– Маркус, ну что ты! Ведь мы еще в саду Цейсов договорились, ты что, забыл? Я не плачу. Это просто солома с твоих волос. В глаз попала. Я правда не плачу, – сказала она, стараясь, чтобы голос звучал бодро.

Мальчик встал с колен, энергично отряхнул свои брюки, заправленные в войлочные гамаши, и натянул на голову шерстяную шапку. Он стоял перед ней, широко расставив ноги, и пытался своими короткими ручонками дотянуться до кармана куртки, которая была ему так велика, что карманы оказались на уровне коленей.

– Ну, ты пока подумай, а я принесу воды.

Она видела, как он медленно удаляется, обходя спавших на полу людей. Через минуту он исчез в галерее, что вела к воротам южного нефа церкви.

Она приподнялась и, стоя на коленях, осмотрелась. Сквозь большую пробоину в крыше, которая появилась после второго ночного налета, виднелось хмурое серое небо, которое бросало овальное пятно света на небольшое пространство

вокруг алтаря. Все остальное окутывала темнота, постепенно переходившая во мрак. Как на картинах Дюрера, которые она видела еще до войны, когда вместе с классом была на экскурсии в Берлинском музее! И так же, как у ненавистой отцу Лени Рифеншталь, которой – но только как фотографом – она восхищалась в сто раз больше, чем Дюрером! Рифеншталь могла остановить мгновение, Дюрер же его всего лишь воспроизводил, добавляя слишком много от себя, утрируя. Доводя почти до шаржа. А у Рифеншталь совершенно незаметны переходы взаимопроникающих, накладывающихся друг на друга оттенков серого цвета. Волшебный, безбрежный мир серого. Серое без границ. Она смотрела на это как зачарованная. Не часто можно увидеть такой свет. Разве что раз, «пока мы еще живы...». Она встала, торопливо открыла чемодан. Вытащила тщательно обмотанный плотным меховым жилетом сверток, извлекла оттуда фотоаппарат.

Вчера – во время первой тревоги – мама велела ей взять с собой «самое необходимое». Она тут же бережно укутала фотоаппарат и осторожно положила его на толстую подушку из свитеров. И поначалу решила, что это и есть «самое необходимое». А потом, когда мать уже стояла в прихожей и подгоняла ее все громче, побежала было к двери, но передумала. Вернулась в свою комнату и схватила перевязанную стопку писем от Гиннера, фотографию бабушки и обручальное кольцо, которое сняла с ее пальца, учебники английского языка, любимое платье, три смены белья, атлас мира в кожаном переплете, полученный в награду за отличную учебу, дневник, который вела уже семь лет и прятала под матрасом, и огромный, как футбольный мяч, комок ваты, которую она потихоньку таскала у мамы. У нее как раз случились «эти дни». Собственно, они бывали у нее регулярно, каждый месяц, уже более шести лет, но мама не успела этого заметить. Или делала вид, что не замечает.

Мать не хотела, чтобы дочь в конце войны повзрослела. Девушку можно изнасиловать. А потом отправить ее сына на фронт. И ей придется ждать от него писем. И наконец, получив желтоватый, запечатанный со всех сторон конверт, вынуть из него дрожащими руками серый лист бумаги с бесконечной чередой цифр в правом верхнем углу и узнать, что письмо – «лично от фюрера», хоть и без подписи, и что тот, кому присвоили этот бесконечный номер, «пал смертью храбрых». Мать ненавидела Гитлера. По-настоящему, то есть лично. Эта ненависть была своего рода страстью, которую мать истово возвращала в себе и которая позволяла ей справляться с собственным бессилием и жадой мести. За долгожданные письма от мужа, за его отмороженные под Сталинградом ноги, за

неизбывную тоску посвященных ей стихов, за неуклюже выскобленный лезвием цензора перевод этих стихов на английский и наконец за то, что они с мужем стыдились быть немцами. Но прежде всего за желтоватый конверт, который она получила на лестнице из рук нервно прятавшего глаза молодого почтальона в потрепанном мундире. В жаркий полдень, в среду, 12 мая 1943 года. А еще за то, что каждую ночь ей снился этот бесконечный номер, который она выучила наизусть, и за то, что у ее мужа нет даже могилы, к которой она могла бы прикоснуться и припасть, предавшись отчаянию.

А потом, хотя ей казалось, что невозможно ненавидеть сильнее, она возненавидела – еще сильнее, еще яростнее. За то, что носила в щербатой кружке черешню для еврейского мальчика, скрывавшегося под полом в прихожей...

Мать не только с величайшей, неистовой страстью ненавидела, но и презирала Адольфа Г., этого «недоразвитого, низкорослого, уродливого недоучку, психически больного с момента зачатия выродка, который не вызывает ничего, кроме отвращения, ходит под себя от страха и страдает комплексом неполноценности, этого импотента из Австрии, который, будучи преступником, не должен был получить немецкую визу...». Когда девочка первый раз услышала это из уст матери, ей было не больше десяти. Еще до войны. Отец тогда вскочил со стула и захлопнул окно, а она спросила, кто такой импотент и что значит «зачатие» и «виза». Мама улыбнулась, посадила ее на колени и, заплетая ей дрожащими руками косы, зашептала на ушко что-то еще более непонятное. А отец смотрел на жену с восхищением.

– Кристи, мы ведь с тобой не знаем, импотент Гитлер или нет, но даже если это так, ему стоит посочувствовать. Это ужасно для любого мужчины. Опять же, когда он приехал в Германию, он еще не был преступником. И австрийцам для въезда не нужна виза, – сказал отец тихо, – это давно уже определено трактатом от...

– Я знаю. Конечно, знаю! И на основании какого идиотского трактата тоже знаю. – Жена коснулась пальцем его губ, словно желая остановить его. – И знала, что ты мне это скажешь. Я тебя обожаю. И за это тоже, – прошептала она.

Протиснувшись сквозь толпу, она направилась в сторону лестницы, что вела к амвону, находившемуся как раз напротив алтаря. На минуту задержавшись, установила диафрагму и выдержку. Быстро побежала вверх по лестнице. Вслед неслись проклятия сидевших на ступеньках людей, которых она разбудила, пробегая по лестнице. С трудом переводя дыхание, она вышла на небольшую полукруглую площадку, со всех сторон окруженную каменными резными колоннами, некое подобие балюстрады. И остановилась. Синее шерстяное платье девушки было задрано так высоко, что видны были ее голые груди, которые сжимали мужские ладони. Широко расставив ноги, девушка приподнималась и опускалась на бедра мужчины, лежавшего под ней на мраморном полу амвона. Она оказалась прямо напротив. Девушка – ее ровесница или чуть старше – открыла глаза. И тут же снова закрыла. На мгновение замерла. Провела языком по губам, поднесла пальцы ко рту, облизала их, прикрыла ладонью пятно светлых волос между широко расставленных бедер, приподнялась и откинула голову. Казалось, девушка пребывала в каком-то другом мире, не замечая происходящего. И опять начала ритмически подниматься и опускаться. Распущенные светлые волосы касались лица мужчины...

Ей стало неловко. И в то же время любопытно. И еще она ощутила возбуждение. А потом стыд, смешанный с чувством вины. За это возбуждение. За то, что она испытала его здесь, при таких обстоятельствах и в таком месте. Все остальное выглядело нормальным и абсолютно соответствовало действительности. Она вспомнила разговоры на эту тему дома...

Она была достаточно «большой девочкой», чтобы понять и принять это событие. Секс не был для нее табу. Уже давно. В Третьем рейхе секс перестал быть чем-то личным и интимным. Секс стал делом общественным и политическим. Прежде всего потому, что должен был способствовать увеличению народонаселения. Только это и было важно. Немецкой женщине следовало рожать как можно больше детей и желательно как можно раньше. О сексе ей не обязательно было знать. Лучше даже не знать вовсе. Самого понятия «сексуальное воспитание» не существовало. И в этом заключался некий парадокс: с одной стороны, следовало размножаться, что без секса невозможно, а с другой – секс окутывала тайна. Она больше узнавала о сексе – если это вообще можно назвать знанием – из серых пропагандистских листовок, которые раскладывали на подоконниках в школе, чем от учителей на уроках. В этих листовках не было ни слова о близости, взаимоотношениях, семье и любви. Зато много говорилось об обязанностях, о

матке и о будущем великого и многочисленного истинно германского народа. Первый раз она прочла такую листовку, когда еще и знать не знала, что такое матка. Ей было тогда тринадцать лет. И это была единственная листовка, которую она прочла. Потом она их игнорировала.

Скоро ей исполнится двадцать два. У некоторых ее сверстниц к этому возрасту уже по трое детей. Первенцев они рожали еще учась в школе. В этом случае они получали материнский отпуск, а через год, если, конечно, хотели этого, возвращались в школу. Главное – они произвели на свет арийского ребенка. Замуж выходить было не обязательно. Например, Марианна, кстати говоря, дочь евангелического пастора, с которой она сидела целый год за одной партой, родила двух мальчиков и девочку. Мальчиков-близняшек – когда училась в гимназии, от Ганса-Юргена. А девочка появилась, когда Ганс-Юрген уже одиннадцать месяцев был на фронте, то есть ее отцом быть никак не мог. Но с тех пор как страна стала нуждаться в детях, особых проблем с этим не было. Действительно никаких. Немецким женщинам следовало рожать, а немецким мужчинам – как можно чаще их оплодотворять. Жен, любовниц, подруг, знакомых, которых, как проституток, заводили на один вечер или даже на один час. Лучше всего, чтобы немецких женщин оплодотворяли эсэсовцы – это гарантировало чистоту расы. Ведь их, по приказу Гиммлера, проверяли до десятого колена, и эсэсовцем мог стать лишь тот, чья «расовая чистота» с первого января 1935 года не вызывала сомнений. Эту дату, неизвестно почему, назначил сам Гиммлер. Марианна родила девочку от эсэсовца. А дети эсэсовцев были «благородным подарком для немецкого народа». Она не знает, так ли это было в случае с Марианной, но после рождения третьего ребенка та в школу не вернулась.

Она часто разговаривала об этом с родителями. Они не делали из секса никакой тайны. Когда ей исполнилось шестнадцать лет, на полке домашней библиотеки в гостиной неожиданно появилась книга голландского автора Ван де Вельде. Со стороны родителей это было смело – ведь и нацисты, и немецкая церковь проявили в отношении этой книги редкостное единодушие: церковь, к великой радости режима, внесла ее в список запрещенных, а нацисты осудили как общественно вредную. Все это лишь подогревало к книге интерес.

Малоизвестный нидерландский гинеколог ни с того ни с сего стал в Германии воплощением зла и безнравственности – потому что позволил себе представить, описать с точки зрения науки и, что хуже всего, – приветствовать чувственный секс не для продолжения рода, а как акт близости двух любящих людей.

Сначала читать было трудно (отец – специально – раздобыл книгу в переводе на английский), потом она учила по ней язык, а потом, когда уже все понимала,

восхищалась.

К тому, что у нее дома считалось само собой разумеющимся, другие относились иначе. Сверстницы узнавали о сексе главным образом из пронизанных духом дешевой сенсации «жизненных историй», которые более опытные старшие подруги нашептывали друг дружке на ушко. Она же могла разговаривать об этом с родителями безо всякого смущения. Но только в том случае, если рядом не было бабушки Марты. Бабушка считала, что детей следует зачинать исключительно в темноте, на супружеском ложе, и рожать их могут замужние женщины. И только от одного-единственного мужчины, брак с которым освятила церковь. На всю жизнь. Все остальное – грех и самая настоящая мерзость. С тех пор как объявился «этот урод и развратник Гитлер», все перевернулось с ног на голову. Так считала бабушка. Гитлер, с ее точки зрения, «замарал и опозорил Германию» как никто другой. «Святошей прикидывается, а сам превратил Германию в бордель», – вот ее слова.

Как-то вечером они разговаривали об этом, и отец, что случилось с ним крайне редко, вдруг встал на защиту Гитлера. Он не считал его «развратником», как бабушка Марта. Наоборот, назвал образцом сексуальной чистоты и аскетического воздержания. Единственный из всего пантеона грешных нацистских функционеров, Гитлер не погряз в романах, изменах, скандалах или интрижках, несмотря на свою неограниченную власть и целые табуны влюбленных в него женщин. Его образ отшельника вызывал у немок массовую сексуальную истерику, и именно к Гитлеру они обращали свои тайные желания, окружая его бесконечным обожанием. Это относилось и к молодым девушкам, и к зрелым матронам, к работницам и светским дамам, к простым крестьянкам и сумасбродным художницам, к миловидным актрисам. Все они отчаянно желали любой ценой сблизиться, в самом однозначном понимании этого слова, с неженатым Гитлером, который, словно волшебный любовный напиток, возбуждал их – благодаря, с одной стороны, своему положению и власти, а с другой – статусу холостяка, который предполагал для любой шанс стать его избранницей. Женщины, и не только немки, в своих письмах умоляли Гитлера стать отцом их ребенка, его имя они выкрикивали, корчась в родовых муках, словно надеясь унять боль.

Кое о ком из таких женщин народ узнавал. Но лишь о некоторых и только тогда, когда считалось, что это можно с успехом использовать в целях пропаганды. Среди них были прекрасная баронесса Зигрид фон Лафферт, невестка великого композитора Вагнера Винифред, певица Маргарет Слезак, архитектор Герди

Троост, неприлично богатая Лили фон Абегг, которая осыпала Гитлера деньгами и задарила произведениями искусства, фотограф и кинорежиссер Лени Рифеншталь, безумная, по уши влюбленная в Гитлера английская графиня Юнити Митфорд, дочь лорда Редсдейла, и Эугения Хауг, которая в шестнадцать лет увлеклась Гитлером и стала верной последовательницей национал-социалистской партии. Гитлер был и остался для всех этих женщин идолом. Как и для тысяч других, которые отправляли ему письма с недвусмысленными предложениями, вкладывая в конверт свою фотографию, и о которых теперь уже никто никогда не узнает.

Самой отвратительной из этих так называемых известных женщин, с точки зрения отца, была Лени Рифеншталь. Ее фильм «Триумф воли», живописующий съезд нацистов в Нюрнберге в 1934 году, был примером повального обожания Гитлера. Высокое небо затянуто тучами, сквозь которые до зрителя постепенно доносится гул авиамоторов. Самолет приземляется, величественно спускаясь к собравшимся внизу сонмам фанатиков. А фюрер, словно чуть ли не ангел небесный или неоязыческое божество, нисходит с небес к ожидающей его беснующейся пастве. Ни одна из поклонниц Гитлера не способствовала рождению мифа о божественности фюрера больше, чем Рифеншталь. Именно она своими фотографиями и фильмами, и в особенности «Триумфом воли», создала визуальный образ Третьего рейха. Всем казалось, что он слишком тщательно отретуширован, но это была чистая правда. Фильм с энтузиазмом приняли за границей, им восхищались как «триумфом настоящего искусства», хотя в сущности это был всего лишь триумф технически безупречной формы, скрывавшей примитивную, банальную суть. В глазах Геббельса «решительная Лени» была «чудотворцем», а Гитлер при каждом удобном случае подчеркивал, сколь многим обязан своей любимице. Отец, который мало кого ненавидел, ненавидел Лени Рифеншталь от чистого сердца – за конъюнктурщину, ложь, лицемерие – и считал «проституткой от творчества» с соответствующими друзьями и влиятельными покровителями. Дочь не могла с ним в этом согласиться – Рифеншталь была отличным фотографом.

При этом, как всячески подчеркивала пропаганда, у Гитлера должна была быть единственная избранница и возлюбленная – Германия. И все же, чтобы ни у кого, не дай бог, не возникло подозрений о его мужской несостоятельности, рядом с ним появляется серенькая, невзрачная, скромная, скрытная с подругами и временами строптивая фрейлейн Ева Браун. Это молодая, красивая, с типично арийской внешностью, сексуально привлекательная девушка из простой немецкой семьи. Она идеально подходила Гитлеру, который не скрывал своей неприязни к умным женщинам. Помощница владельца фотоателье, мечтавшая о

карьере актрисы, Ева Браун, как и сам Гитлер, зачитывалась книгами Карла Мая и так же, как и он, восхищалась непобедимым благородным Виннету. А Гитлер откровенно превозносил Карла Мая и уже с самого начала войны рекомендовал своим генералам изучать военную стратегию по его книгам. Да, в это невозможно поверить, но Гитлер черпал знания о войне не из Клаузевица, а из книг про индейцев! Впрочем, это так, к слову. А фрейлейн Ева Браун значила для Гитлера так же мало и так же много, как его собака Блонди. Многие считают, что эта барышня была прекрасным прикрытием его асексуальности, мужской несостоятельности или даже, упаси Бог, гомосексуальных наклонностей.

Гитлер долгое время не демонстрировал гомофобии, но даже когда стал это делать, это получалось не слишком убедительно – с точки зрения пропаганды. Он занимал весьма двойственную позицию по вопросу о запрете гомосексуализма. Правда, еще в 1935 году было значительно ужесточено наказание за нарушение параграфа 175 германского законодательства, определявшего гомосексуализм как «уголовно наказуемый разврат». Однако никаких показательных процессов за этим не последовало, – скорее всего, благодаря историческому наследию Веймарской республики, которая на проблему гомосексуализма смотрела сквозь пальцы. Что было абсолютным исключением для Европы и совершенно невозможно в так называемой демократической Америке. В 1934 году в Берлине и Кельне даже существовали официальные, размещавшие свою рекламу в газетах клубы для гомосексуалистов. Они издавали журнал «Der Eigene», в кабаре Берлина, Кельна и Дюссельдорфа выступали трансвеститы, а все заинтересованные лица в Германии знали, что в кельнской гостинице «Под орлом», что на Иоганнисштрассе, 36, каждую ночь кипят страсти в духе Содомы и Гоморры, а «самых симпатичных парней на ночь» можно найти в Кельне возле общественного туалета на улице Транкгассе.

В «Майн кампф», ставшей библией нацистов, чуть ли не каждая страница дышит ненавистью к евреям и презрением к славянам, однако о гомосексуалистах Гитлер там не обмолвился ни словом. Это нашло отражение и в его решениях. Среди нацистских вождей было предостаточно гомосексуалистов. Например Рудольф Гесс, правая рука Гитлера, известный среди голубых как «Фрейлейн Анна» или «Черная Эмма». Или Бальдур Бенедикт фон Ширах, руководитель Гитлерюгенда, который немцы провали «Гомоюгенд». У нацистов был пунктик по вопросу о чистоте крови, и они считали, что евреев следует уничтожать, поскольку нельзя «облагородить их расу». Зато в жилах арийцев, пусть и гомосексуалистов, текла «чистая кровь». Они были всего лишь «биологически и умственно несовершенны», поэтому у них оставался шанс «исправиться». Их

можно было, к примеру, кастрировать или принудительно вводить им тестостерон. Правда, тех, кто на это не соглашался, с 1938 года стали отправлять в концентрационные лагеря.

Ева Браун, демонстративно ночевавшая в Бергхофе, летней баварской резиденции Гитлера в местечке Оберзальцберг, или вместе с ним в Берлине, однозначно давала понять, что вождь любит германскую богиню, пусть даже платонически. Во всяком случае, он не монах-отшельник и проводит ночи не в одиночестве, а с женщиной – молодой и, скорее всего, плодотворной арийкой. И с политической, и с пропагандистской точки зрения это был удачный ход. Неправильная сексуальная ориентация или отсутствие таковой, а равно и импотенция, были немыслимы для вождя народа, обязанного плодиться подобно кроликам. Поэтому фрейлейн Браун была при Гитлере на своем месте, впрочем, как и овчарка Блонди.

Отец не соглашался с бабушкой Мартой и в том, что нынешняя Германия – «бордель». Он уверял, что еще в «Майн кампф» Гитлер обещал закрыть все публичные дома. А в 1933 году, придя к власти, так и поступил, подписав соответствующий указ. По мнению отца, Гитлер поступил так по одной простой причине: в борделях проститутки не размножались. Как только они беременели, их немедленно увольняли, поэтому почти все делали аборты. И Гитлер все тем же указом запретил использовать презервативы и производить прерывание беременности. Бордели, которые нацисты с немецкой педантичностью обнаруживали и закрывали, были обречены. Так и случилось. Они исчезли фактически сами по себе. Но поскольку проституция – с незапамятных времен неизменная спутница всех цивилизаций, вместо борделей должно было возникнуть нечто другое, чтобы заполнить вакуум. Тогда и появились так называемые «дома радости». По сути те же бордели, только женщины должны были работать там «ради радости», ну или хотя бы на благо Рейха. Они и работали. Это факт. А потом прерывали – нелегально, но эффективно – нежелательную беременность. То есть немцы все равно не размножались так, как того требовал режим. Число внебрачных детей, вопреки ожиданиям, не увеличивалось. Известный нацистский врач Фердинанд Хоффман в 1938 году публично разразился проклятиями в адрес соотечественников, сетуя, что «немцы использовали 27 миллионов презервативов». Вскоре после этого Гиммлер ужесточил предписания, касающиеся контрацепции, забавным с юридической точки зрения пассажем: «Любое объяснение того, чем являются противозачаточные средства, запрещается». Только немцам можно было предложить такой закон. И только немец мог его придумать, да к тому же еще сослаться на авторитет так называемых профессоров. Одним из них был

специалист по «расовой гигиене», некий Фриц Ленц, который опубликовал на страницах газет результат своих так называемых размышлений и опытов: «Если молодые люди в надлежащем возрасте заключат чистый с расовой точки зрения брачный союз, они могут произвести для народа до двадцати детей».

Неудивительно, что после таких публикаций люди стали шутить, что «по приказу фюрера срок беременности сокращается с девяти до семи месяцев». Разумеется, Геббельс тут же привлек к суду редакторов газет, отважившихся эту шутку распространять.

Но даже сам Гитлер не верил, что в таких интимных вопросах юридические санкции могут быть эффективны. И был прав. Число новорожденных арийских младенцев не росло. Зато распространился разврат, участились супружеские измены и то, что бабушка называла «самым тяжким грехом», – особенно когда народ понял, что из германского уголовного кодекса в 1937 году, по личному указанию фюрера, исчезло наказание за супружескую неверность. Немецкая церковь – и католическая, и протестантская – и тогда смолчала. Может быть, в благодарность за «полное понимание», которое выражалось в том, что нацистская пропаганда закрывала глаза на многочисленные случаи «сексуальной активности священников» по отношению как к женщинам, так и к юношам.

С тех пор как Гитлер окончательно поработил страну, церковь в Германии хранила последовательное молчание «по всем наиважнейшим вопросам». Так прокомментировал это отец. И «по вопросу неконтролируемых зачатий, и по вопросу контролируемых убийств». И это при том, что глава государства демонстративно отрицал религию, называя ее чистой воды мистикой и оккультизмом. Но об этом отец никогда при бабушке не говорил.

А мать во время таких дискуссий хранила молчание. И лишь шептала дочери на ухо, что важнее всего любовь. Что только ее и стоит ждать. А когда любовь придет, дочь – безошибочно – почувствует прекрасное и даже неодолимое желание. Почувствует. Наверняка. Самое прекрасное. И самое важное желание. И ему следует подчиниться. Так, как подчинилась в свое время она сама.

Она резко отвернулась и подошла к амвону. Широко расставив ноги и опершись о балюстраду, начала фотографировать.

Молящийся солдат. Правой рукой он сжимал культю – все, что осталось от левой. В каске у его ног дрожал огонек горящей свечи. Заплаканная девчушка с забинтованной рукой сидела рядом на горшке. В нескольких метрах от них – старушка в шубе и соломенной шляпке гладила сидевшего у нее на коленях худющего кота с одним ухом. Рядом с ней читал, перебирая четки, мужчина. За его спиной в кресле сидел священник в огромных очках и с сигаретой в зубах и исповедовал стоявшую перед ним на коленях монахиню. Рядом, под крестом, трое. Прижались друг к другу, низко опустили головы. Словно Святая Троица, смиренно ожидающая казни.

Она узнала лицо Лукаса...

Когда вчера, прижимая к себе чемодан, она подошла к дверям, мать ждала ее с ножницами в руке. У ног матери, в металлическом корытце, лежал мундир бойца гитлерюгенда.

– Состриги ему волосы, одень в этот мундир и завяжи повязкой глаза. Повязку надень до того, как он выберется на поверхность. Поняла? До того! Иначе ослепнет. Повтори, что надо сделать! – кричала мать, протягивая ей свернутую в рулон черную ткань.

Она повторила, вернее, прокричала, как мать. Потом подбежала к серванту у выхода из гостиной. Упираясь спиной, отодвинула его. На мгновение забежала на кухню. Из ящика буфета вытащила топорик для отбивания мяса. Вставила острие в щель между половицами. Подняла покрытую паркетом квадратную крышку. Встала с колен и погасила свет. Потом легла на пол и медленно заползла в клетку. Лукас, скорчившись, прижимался спиной к стене. Она нашла его голову. В темноте начала торопливо состригать ему волосы. Оба молчали. Он послушно подставлял ей голову и целовал руку, когда та оказывалась рядом с его губами. Она сняла с него ботинки. Расстегнула брюки, стащила их и, стоя на коленях, положила перед ним шерстяной мундир. Он понимал все без слов. Убедившись, что он оделся, она плотно завязала ему повязкой глаза. И подтолкнула вперед. Мать, стоявшая у выхода из тайника, подала ему руку и вытащила наружу. Усадив на пол, она застегнула пуговицы мундира. Еще крепче, для верности, затянула повязку на глазах. Встала перед ним на колени. Гладила его по голове и плакала. Через минуту они вышли на улицу и смешались с толпой бегущих в страхе людей.

Первый вой сирен раздался без пятнадцати десять вечера. Мать ожидала налетов уже давно. В глубине души она наивно надеялась, что при таком числе беженцев с востока англичане и американцы из соображений гуманности не станут бомбить полный женщин и детей город. Видимо, успокаивала себя таким образом не только она, но и самый главный человек в Дрездене, гауляйтер Мартин Мучман. Мать бродила по городу, выискивая укромные места, где можно спрятаться. Настоящих бомбоубежищ было всего несколько. Однако это не помешало Мучману – что ни для кого не стало секретом – приказать построить для себя частный бункер на Комениусштрассе, 32. Населению следовало – по мнению властей – прятаться в подвалах. Но подвал их дома еще несколько месяцев назад затопило водой из лопнувших труб. По ночам, когда температура опускалась ниже нуля, вода замерзала.

Они побежали за толпой. У входа в первое бомбоубежище на углу улицы Бетховена бурлило целое море перепуганных людей. Не было и речи о том, чтобы пробиться внутрь. Они услышали гул приближавшихся самолетов. В самом начале одиннадцатого ясное в тот вечер небо над Дрезденом озарили мириады огней, похожих на огромные огненные шары. Вдруг стало светло как днем. Они знали, что через мгновение налетят бомбардировщики. И побежали по узкой улочке в центр, в сторону церкви Фрауэнкирхе. В одной руке она держала чемодан, в другой – руку Лукаса. Неожиданно они наткнулись на заграждение из пожарных машин, стоявших поперек улицы. Повернули обратно. Она слышала за спиной гул приближавшихся самолетов и взрывы бомб. Ей было страшно. Мать закричала, что «им обязательно нужно» в бомбоубежище в конце Анненштрассе. Это было единственное убежище поблизости. В самом начале улицы, возле церкви Анненкирхе, мать упала и ударилась лицом о покрытый грязью обледеневший сугроб. Она помогла матери встать. Церковные двери были распахнуты настежь. Они забежали и остановились у бокового алтаря, справа от главного входа. Она помнила, как мать переставила стоявшую там деревянную скамью перпендикулярно стене, чемоданами забаррикадировав доступ к угловой пристройке. Мать перенесла туда Лукаса на руках и, сорвав с его глаз повязку, положила мальчика на покрытый соломой пол.

– Священники Анненкирхе были предусмотрительнее, чем гауляйтер Матрин Мучман и банда его продажных чинуш, – услышала она голос матери.

Та велела ей лечь рядом с мальчиком и накрыла их одеялом. Ей было страшно. Еще никогда в жизни она так не боялась. Она помнила, как прижимала к себе Лукаса и без конца повторяла вслух строчки из Рильке, умоляя словами поэта о

том, чтобы наступила тишина. При каждом новом взрыве она все громче просила тишины. Через несколько минут и Лукас стал повторять за ней эти строчки как молитву.

Молиться она не могла себя заставить. Даже здесь, в таком месте, в такую минуту. И в таком состоянии. Эти страшные, с ее точки зрения, идолопоклоннические строки, которые она должна была учить в школе на уроках религии, забылись сразу после того, как она ответила урок учителю. Как и рифмованные речевки, прославлявшие фюрера, которые они хором повторяли на утренней перекличке каждый день перед началом уроков. Она не верила в фюрера, в верховного Вождя, чей культ было запрещено ставить под сомнение. Потому не верила и в Бога. Это вовсе не означало, что она утратили веру из-за страданий, которые испытала за все эти годы с начала войны. Она разуверилась в Боге не из-за разочарования, обиды или протеста и не в отместку за то, что Он допустил все это, то ли вообще оставив их, то ли повернувшись к миру спиной именно в тот момент, когда мир нуждался в Нем более всего. Как раз это и было бы, по ее мнению, отрицанием веры – и еще большим лицемерием, чем молиться в минуту смертельного страха. Все последние годы она наблюдала, да и сама испытывала, страдания, вызванные поведением людей, которые руководствовались исключительно безграничным, слепым страхом перед наказанием за неподчинение команде, приказу или заповеди. Отец научил ее по-умному сомневаться – в особенности в том, что бездумно повторяли окружающие – и задавать вопросы. А мать, вслед за своей матерью, явила пример того, что значит «не жить на коленях».

Она не верила в Бога, хотя была крещена и на первом причастии, как и все, проглотила белую облатку, а при помазании получила второе имя Марта. В честь бабушки. Иногда, важным для нее людям, она представлялась этим именем. Гиннерт его обожал. Для него она была исключительно Мартой. Впервые целуя ее в темноте, когда они сидели на берегу пруда в саду Цвингертейх, он шептал ей на ухо: «Моя Мартиника».

Бабушка Марта, родившаяся в некогда польском городе Оппельне, известном своим твердокаменным католицизмом, и слышать не желала о том, что внука останется некрещеной. И родители, вообразив возможные последствия, вероятно, только ради бабушки ее и окрестили – в величественной дрезденской церкви Фрауэнкирхе. Они тогда и представить не могли, как пригодится их единственной дочери свидетельство о крещении. Она помнила, что с некоторых пор – это началось, когда она училась в гимназии – детей, у которых не было

такого клочка серой бумаги, автоматически подозревали в «неарийском происхождении». Это портило демографическую статистику школы. О чем, будучи чиновником Третьего рейха, знал каждый директор. Все они были обязаны принимать активное и непосредственное участие в «построении нового немецкого общества». Расово чистого, арийского, здорового, работоспособного и, разумеется, всецело преданного фюреру. Расово чистого и здорового.

Это было самое главное. Отцов психически больных детей по особому распоряжению подвергали стерилизации. В соответствии с законом, принятым в 1934 году. На тех же основаниях стерилизовали душевнобольных мужчин в детородном возрасте и неизлечимых алкоголиков. А в 1939-м по отношению к «хронически больным» людям стали применять эвтаназию, которую Геббельс называл «актом гуманности».

Отец считал, что именно Гитлер, как никто другой до него, сумел убедить немцев в том, что они избранный народ. Это Гитлер, Гиммлер и Геббельс ввели в обиход понятие «народное бессмертие». Немецкое, разумеется. Чем привели обывателей в восторг. Ловко и очень просто. Они свергали прежние национальные памятники и возводили новые, которые были гораздо крупнее и монументальнее, но примитивнее – как если бы пирамиду построил для фараона Уолт Дисней. Они основывали музеи, посвященные национальным традициям, заказывали благонадежным и преданным режиму ученым труды о якобы научных способах классификации культур и рас, собирали отечественный фольклор, создавали каноны народной литературы, а все то, что в каноны не вписывалось, демонстративно уничтожали. Они учреждали новые национальные праздники, организовывали торжественные церемонии во славу павших «за правое дело», утверждали новые флаги и приказывали создавать новые гимны, собирали громадные толпы на парадах по случаю обретших новое значение исторических событий... В короткие сроки им удалось сотворить миф. А миф, укоренившись в сознании, заступает место культурных ценностей. Новый стиль поведения, новые ценности и символы становятся чем-то естественным, исконным и понятным каждому. И миф начинает опережать историю. Культурные ценности доступны не всем, поскольку их восприятие требует знаний и умственных усилий. В миф же достаточно просто верить. Его не обязательно понимать. Впрочем, это касается и культуры, когда ее делают массовой. Картины стали простыми и понятными, Геббельс и его свита добились того, что по радио стали звучать только патриотические песни и еще более патриотические простенькие оперетки, а самым значительным немецким зодчим был признан некий Арно Брекер, ваявший колоссальные фигуры, которые имели к скульптуре такое же отношение, как садовые гномы – к античному искусству.

Все это не мешало Гитлеру считать, что колоссы Брекера принадлежат к числу «наипрекраснейших изваяний, которые когда-либо создавались в Германии». Помимо Брекера, были еще Торак и Климш, творившие в том же ключе. Все прочее, по словам Гитлера, – творения «дегенеративных заик, бездарных саботажников, безумцев и торговцев». Так, впрочем, считали и все те, кто фотографировался на фоне творений Брекера, Торака и Климша в Берлине или Мюнхене.

Но гитлеровцам удалось и кое-что еще. Видимо, самое важное. Они беспрестанно подогревали в массах ощущение собственной значимости, и люди в конце концов поверили, что вовсе не являются придатком диктатуры. Гитлер убеждал их в этом при каждом удобном случае. Он повторял: «Вы стоите передо мной, как взволнованное море, преисполненное священного негодования и безграничного гнева».

Гитлер как никто другой, кроме разве что Сталина, умел убедить массы, что они и есть диктатура. В этом была его величайшая личная заслуга. Он хотел стать художником, философом, архитектором, а в результате стал актером. Отличным актером. Именно он гипнотизировал немцев своими речами. Именно он расставлял декорации и режиссировал, доводя до совершенства, свои выступления, которые должны были производить впечатление импровизации. Каждое из них – это спектакль. Все начиналось в тишине. Гитлер стоял неподвижно и безмолвно, затем начинал говорить – спокойным низким голосом, постепенно доходя до истерического крика, погружая толпу в транс и доводя до экстаза. Плюс зрительный эффект: лучи авиационных прожекторов, символы, составленные из пылающих факелов, массовые гимнастические упражнения, смахивавшие на эротические балетные этюды, пафосная, словно звучащая с небес музыка... Тирады ожесточенно жестикулировавшего фюрера, освещенного прожекторами на фоне кроваво-красного знамени с черной свастикой в белом круге, и его любимые слова: «абсолютно», «непоколебимо», «решительно», «окончательно», «неутомимо», «судьбоносно», «вечно». Слова простые, однозначные, понятные всем. Он выкрикивал каждому прямо в ухо именно то, что тот хотел услышать. Крестьянам: «Это вы являетесь основой нации», рабочим: «Рабочие – это аристократия Третьего рейха», финансистам и промышленникам: «Вы доказали, что принадлежите к высшей расе, вы имеете право быть вождями». Гитлер в своем примитивнейшем, инстинктивном популизме был близок каждому. Как закадычный друг, как благодетель и неутомимый защитник. Всех без исключения. Стариков и детей, дорожников и пирожников, учителей и мясников, поэтов и пахарей.

Гитлер первым использовал для своих выступлений электрические усилители. Благодаря им толпе казалось, что голос вождя звучит откуда-то свыше. Не исключено, что без динамиков Гитлер никогда бы не покорил Германию. И все это сопровождалось жутковатыми световыми эффектами. Абсолютно новаторский пропагандистский шедевр, опытом которого, можно было не сомневаться, непременно воспользуются и в будущем. Только Гитлер способен, утверждала геббельсовская пропаганда, добиться такого эффекта, чтобы после его речей «женщины с отсутствующим выражением на лицах в изнеможении оседали на землю, словно тряпичные куклы», а вопль «хайль» в конце его речи получался таким громогласным, что «многим казалось, будто от него могут обрушиться крыши».

Нетрудно понять, как это могло действовать. И действовало. Даже за пределами Германии. В 1938-м, за год до начала войны, Адольф Гитлер был выдвинут на Нобелевскую премию. Особую премию – премию мира! Он должен был получить ее в 1939-м. Выдвинуть его предложил некий Э. Г. Ц. Брандт, шведский политик с немецкой фамилией и мозгами крысы. Впрочем, такими мозгами обладает большинство политиков. Тем не менее Брандт был избранным демократическим путем депутатом шведского парламента. Адольф Гитлер – лауреат Нобелевской премии мира! Можно ли представить большее извращение за всю историю человечества?! Среди его конкурентов в тот год был, в частности, Махатма Ганди. Правда, в феврале 1939-го, по инициативе Геббельса, его кандидатуру сняли. Геббельс прекрасно знал, что в сентябре 1939-го начнется война. И вручение Нобелевских премий ни в ноябре, ни в декабре не состоится. Тем более премии мира.

Формирование нового, идеального вида Homo Germanicus, который должен был соответствовать требованиям и амбициям «тысячелетнего рейха», начиналось уже в детском саду и еще более настойчиво продолжалось в школе – это было формирование арийца, расово чистого до последней капли крови. Отец однажды спросил, помнит ли она стихотворение:

Береги чистоту своей крови.

Она не только твоя —

Приплыла она издалёка,

Уплывет она далёко.

В ней наследство тысяч предков,

На ней зиждется будущее,

В ней вся твоя жизнь!

Она помнила. Еще бы не помнить! Ведь ей пришлось учить его наизусть. Дети декламировали стишок уже в третьем классе. А потом по команде вскидывали правую руку вверх. Она тоже. Ничего не понимая.

Школьные учителя добровольно поддерживали у детей перманентное состояние патриотического экстаза. А так называемая расовая чистота была одним из наиважнейших условий существования Третьего рейха. Она помнила, как вслушивалась на уроках истории в рассказы о необходимости сохранения арийской расы в «безукоризненной чистоте». По словам учительницы, древние цивилизации пришли в упадок именно потому, что допускали смешение крови, а «потеря расовой чистоты губит счастье народа раз и навсегда».

Отныне безупречное арийское происхождение нужно было еще и доказать. Документально. И если у кого-то необходимых документов не оказывалось, это немедленно бросало на него тень подозрений. Очень опасных подозрений. Ученика пересаживали на задние парты. Его фамилию не произносили во время проверки посещаемости. Ему нельзя было обедать в школьной столовой. Лишенные достоинства дети не имели права испытывать чувство голода. Однако на линейках, прославлявших фюрера, они обязаны были присутствовать. И хотя до тех пор, пока они не предъявят напечатанные на серой бумаге документы, свидетельствующие об их «расовой чистоте», эти дети как будто и не существовали, на линейках они были нужны для дополнительных децибелов. Но стоило принести необходимую справку, как картина радикально менялась. Эти дети вновь становились полноправными членами коллектива. Но только по предъявлении соответствующей печати. И не дай бог, если в справке не значились дата и регистрационный номер или она была оформлена на чужом языке, – в таком случае человеческое достоинство в течение недели, а то и двух вновь оказывалось под сомнением. Пока документ не приводили в порядок. Так, например, случилось с Ирен, соседкой по парте. Она родилась в немецкой семье в небольшой деревушке в окрестностях Бреслау, но с началом войны ее родители в поисках работы переехали в Дрезден. Крестивший Ирен священник был плохо и недостаточно онемеченным поляком. Плохо – потому что не умел писать по-немецки. А недостаточно – поскольку свидетельство о крещении составил на польский манер: указал фамилию и имена родителей, поставил дату

и печать с черным немецким орлом, но не указал регистрационный номер, зато что-то приписал по-польски от руки. Этого хватило, чтобы Ирэн навсегда превратилась в школе в белую ворону.

По правде говоря, сама она получила безукоризненное свидетельство о крещении только из-за непоколебимых католических убеждений бабушки Марты. Но из-за всех этих домашних разговоров на линейках она всегда молчала.

Порой ей казалось, что это вовсе не Гитлер, а его перепуганные насмерть бюрократы правят бал в стране. Однажды она даже спорила на эту тему с отцом. Он рассказал ей о каком-то русском Гитлере по фамилии то ли Шталин, то ли Сталин, она точно не помнила. Вроде бы Сталин поехал в Сибирь. И в пропагандистских целях посетил лагерь, куда ссылали так называемых противников режима. Об этом писали все газеты. Беседовал с заключенными, шутил, пил с ними водку. От одного из них, грузина, – а Сталин и сам родился в Грузии – узнал, что того сослали за саботаж: он недопоставил родине необходимые ей восемьдесят кубических метров древесины. Тогда Сталин спросил, почему же тот так поступил. Оказалось, ближайший лес находился больше чем в двух сотнях верст от дома грузина, а у него не было даже лошади. Уезжая вечером из лагеря, пьяный Сталин приказал немедленно освободить грузина. И расстрелять начальника лагеря.[1 - Как известно, И. В. Сталин никогда никуда не ездил, тем более в Сибирь. (Прим. ред.)]

Отец – хотя она и сама все прекрасно понимала – на этом примере пытался убедить ее, что Сталин был выморочным диктатором – вроде упоенного властью египетского фараона из романа «Камо грядеши», подаренного ей на пятнадцатилетие, – которого самого нужно было поставить к стенке. Ведь это сталинские министры приказали грузинским функционерам поставлять древесину, это сам Сталин подписал такой приказ и это он, сам того не зная, упек ни в чем не повинного грузина в Сибирь. Сталин, так же, как и Гитлер, создал ужасающую государственную систему. Но отцу не было необходимости ее убеждать. Она лишь хотела знать, что он думает так же. Он думал так же. И это было для нее очень важно. Важнее всего.

Родители Гиннера, к примеру, вообще не думали. Так считал Гиннер, хотя она ему не верила. Они верили, что нужно вовремя вывешивать флаг за окном, бодро вскидывать вверх вместе со всеми правую руку и широко распахивать оконные рамы, чтобы лучше слышать передаваемую по ретрансляторам речь фюрера –

поэтому зимой, используя все карточки на уголь еще до Рождества, они сидели за столом в пальто и телогрейках, и Гиннеру было за них стыдно. Но он никогда не протестовал, не жаловался и тоже послушно натягивал телогрейку. Может быть, поэтому он так охотно приходил к ней зимой? У нее дома окна открывали только поздней весной и летом. Все остальное время они были закрыты. И ее мать еще плотнее закрывала их, когда передавали речи фюрера, – даже летом, в самые жаркие дни.

Нет! Она не могла заставить себя молиться.

Прижавшийся к ней Лукас каждые несколько минут прикасался ладонью к ее бедру, проверяя, рядом ли она. Когда же, наконец, наступил момент тишины, он заснул. Иногда только вскрикивал что-то во сне на идише. Тогда она закрывала ему рот. И все время боялась, что тоже заснет. Нельзя допустить, чтобы кто-то услышал, что Лукас говорит по-еврейски, пусть даже во сне. Она крепко прижимала лицо Лукаса к своей груди. Ей хотелось спать. Она так хотела забыться...

Около часа ночи ее разбудила мать. Лукас все еще спал. Она поднялась, плотно укутала его одеялом и села на деревянную скамью. Два человека стояли рядом с матерью. Невысокая сгорбленная женщина в сером заплатанном пальто всматривалась в спящего мальчика. Мужчина пытался что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова. Вдруг он упал перед ней на колени и обхватил руками ее ступни. Она не понимала, что происходит. Мать резко подняла мужчину с колен, резко поднявшись со скамьи.

– Позволь представить тебе госпожу Марию Ротенберг и господина доктора Якоба Ротенберга. Это родители Лукаса, – спокойно сказала мать. И добавила. – А это моя дочь, Анна Марта Бляйбтрой.

Женщина проигнорировала протянутую для рукопожатия ладонь. Дрожащей рукой прикрыла рот. Поколебавшись минуту, вытащила из кармана пальто кожаный, завязанный ремешком мешочек. Вложив его в руку матери, взглянула на мужчину, будто спрашивала его позволения.

– Я очень высокого мнения о работах вашего отца. Мы иногда встречались в университете. Давно это было. Еще до войны. Я не знаю, кто бы смог лучше перевести Гёте. А перевод Лютера вообще уникален. Мы будем польщены, если

вы передадите ему этот скромный знак благодарности и наши самые искренние...

Мать прервала его на полуслове.

– Мой муж умер, – сказала она решительно, лишенным эмоций голосом. – Не могли бы вы, господа, отойти со мной в какое-нибудь более укромное место?

Она схватила мужчину за руку и потянула за собой. Когда они оказались в темноте, рядом со спящим Лукасом, вытащила из сумочки нож и, не спрашивая разрешения, расстегнула мужчине пальто и отрезала лацкан пиджака, к которому была пришита звезда Давида. Потом отрезала второй лацкан и оторвала все пуговицы. Пиджак должен был выглядеть старым и поношенным.

– Вы меня простите, но я думаю, что так будет лучше, – сказала она с улыбкой. – Вы можете оторвать карманы? Прямо сейчас?

Мужчина послушно засунул обе руки в карманы своего пиджака. Было слышно, как затрещала ткань. Мать расстегнула пальто женщины и медленно ощупала ее грудь.

– Что у вас под этим свитером? – спросила она.

– Два других свитера, – ответила женщина, – и... еще комбинация.

– Вы можете снять верхний свитер?

– Не знаю, – засомневалась женщина, – к остальным я не пришила... ну, вы понимаете. Нам нельзя без этого. Вы же знаете, это приказ гауляйтера Мучмана...

Девочка увидела, что мать начинает нервничать. Поняла это по крепко стиснутым губам, сжатым в кулаки ладоням и сморщенному лбу.

– Гауляйтер Мучман, простите за грубое слово, – хуй собачий! Надеюсь, вы понимаете, что значит по-немецки слово «хуй»? Я не знаю, как это на идиш, но наверняка когда-нибудь узнаю. Он хуже, чем последний сукин сын. Моя

свекровь, женщина весьма деликатная и воспитанная, кроме как «хуем», его и не называла. По-польски. Она всегда о самом важном говорила по-польски. Поэтому я знаю это слово по-польски и даже могу его правильно написать. Мучман – один из двух самых отпетых мерзавцев, которых мне довелось встретить в жизни, – шептала она на ухо женщине. – Я хочу извиниться перед вами за него. Я вас прошу от имени... я прошу вас простить... за все, что они тут с вами сделали... простите, если можете...

Женщина положила пальто на пол, молча сняла свитер и протянула его матери. Потом подошла к спящему Лукасу и взяла его на руки. Мужчина поднял пальто и накрыл им мальчика. Минуту спустя они растворились во мраке улочки, примыкавшей к церкви.

Все произошло неожиданно и быстро. Ей хотелось побежать за ними. Остановить. Сказать, что Лукас любит, когда ему читают сказки братьев Гримм, а когда он кашляет, ему больше всего помогает горячее молоко с ложкой меда, что он замечательно рисует, ненавидит лук, быстрее всего засыпает на правом боку и мечтает о собаке. И о том, что он обожает черешню, а бабушка Марта...

Мать преградила ей дорогу. Посадила на скамью рядом с собой и крепко обняла.

– Успокойся! Время Лукаса для нас закончилось! Хорошо, что я нашла их. Я предполагала, что встречу их здесь. Куда им еще идти?! В бомбоубежище? Евреев туда не пускают. Да они и не посмели бы туда пойти. В церковь их тоже бы не пустили, но, когда такое творится...

Бабушка говорила мне, что они уже несколько лет вместе с четырьмя другими семьями ютятся в подвале неподалеку отсюда. Ишачат, как рабы, по двенадцать часов в день на этих жуликов Коха и Штерцеля в Миктене. За продовольственные карточки. Сама знаешь, какие карточки и на какую еду получают евреи...

Пока вы с Лукасом спали, я обошла всю церковь. Встретила Ландграфов. Маленький Маркус первым делом спросил про тебя. Я не сказала ему, что ты здесь. Не хотела, чтобы он увидел Лукаса. Еще приревновал бы. Он, кажется, влюблен в тебя. Может, даже больше, чем его брат. А Гиннер про тебя не спросил, но при виде меня весь так и засветился от счастья. Ты знаешь, что у него самые голубые глаза, какие я только видела в своей жизни? Знаешь,

конечно...

А потом я нечаянно наступила на воняющую мочой, перепуганную, жирную, мерзкую крысу. Так мне показалось. Это был Альбрехт фон Цейс. Представляешь?! Я его сразу узнала. Крыс с повязкой на глазу я еще не встречала...

Ротенберги стояли у дверей, ведущих к жилым комнатам священника. В самом темном закутке церкви. Они стояли там по стойке смирно возле своих чемоданов. Как поставленные кем-то забытые изваяния. Молча. Не шевелясь. Казалось, они старались даже не дышать. Как ты думаешь, может ли страх быть таким сильным? Если да, то Мучман точно заслужил медаль от Геббельса. Он на деле добился того, что Геббельс придумывал в своих кокаиновых видениях. «Евреи должны быть обриты и не привлекать внимания. Небритые евреи будут расстреляны», – так было написано в его последнем – как всегда идиотском – распоряжении, наклеенном на все столбы в Дрездене. Якоб Ротенберг был гладко выбрит. Он изо всех сил старался не привлекать внимания.

Знаешь, Аня, о чем я подумала тогда? Это было ужасно и до неприличия противно. Я подумала... подумала, что бы случилось, если бы Якоб Ротенберг был на месте Альбрехта фон Цейса. Если бы он, со своими страхами и безусловной исполнительностью, получил такую власть. Или, что еще хуже, сделался Мучманом. Я ужасно несправедлива. Но ведь я не была еврейкой в Германии. Я знаю, Аня...

Ротенберги видели меня всего один раз в жизни. В ту ночь, когда привели к нам Лукаса. После этого – ни разу. Бабушка иногда ходила к ним и относила хлеба или немного творога, завернутого в листы бумаги с рисунками Лукаса. С теми, что ты иногда выносила из тайника.

Они узнали меня. Сначала Мария Ротенберг превратилась из статуи в человека и упала передо мной на колени. Я почувствовала себя очень неловко. Ты понимаешь меня? Как если бы в какой-то стране кто-нибудь хотел тебя, мою любимую, единственную дочку, отправить в газовую камеру только потому, что ты немка, а я могла бы тебя спасти, запихнув под пол кому-то из местных жителей. Ты думаешь, что я тоже бухнулась бы на колени? Да?! Из благодарности?! Да как, черт побери, ты можешь это знать?! У тебя ведь нет дочери. Хотя, может, ты и права...

Потом Ротенберг показал мне повестку на шестнадцатое февраля. Он вместе с сыном Лукасом должен был явиться в отделение НСДАП для «рассмотрения вопроса о временной депортации». Я иногда готова восхищаться Геббельсом и его – да что я говорю – и нашими преданными Третьему рейху служаками. Так элегантно и так торжественно сформулировать смертный приговор. «Временная депортация». Еще и пригласительный билет прислать. Сначала в отделение партии, потом в вагон, а потом в крематорий.

Знаешь, Аня, что я подумала, когда Ротенберг показал мне это письмо? – спросила она.

И, не ожидая ответа, словно самой себе сказала:

– Я подумала, что если в этих налетах есть хоть какой-то смысл, то, может быть, он состоит в том, чтобы Ротенбергам не нужно было являться по этой повестке. Шестнадцатого февраля 1945 года, то есть через два дня. В Дрездене через два дня не будет никаких отделений НСДАП! Я надеюсь. Я уверена! Может, уже и сейчас их нет, может, это все и оправдывает? Целый город сровнять с землей, уничтожить тысячи людей ради спасения трех евреев. Матери по имени Мария, ее мужа и их сына, маленького мальчика.

Если это придумал Бог, то Он не слишком оригинален, а если кто-то другой, то это похоже на плагиат, – вздохнула она.

А наш Лукас... Он никогда не был нашим. Он просто на какое-то время у нас задержался.

– Так часто бывает в жизни, доченька, – продолжала мать, сжимая ее ладони. – Мы встречаем кого-нибудь на своем пути, совершенно случайно, как прохожего в парке или на улице, одариваем его то просто взглядом, то всей своей жизнью. Я не знаю, почему так происходит, кто и зачем перекрещивает наши пути. И почему два пути вдруг сливаются в один. Кто делает так, что только что совершенно чужим друг другу людям хочется идти по нему вместе? Твой отец считал, что это любовь и что не бывает случайных взглядов. Он раздавал их всем вокруг, но сам верил в предназначения. Не в одно, а во множество предназначений. Может, поэтому он жил в такой согласии с миром. Он считал, что даже зло является предназначением, которое когда-нибудь уравновесит добро. Где-то оно уже зародилось и только ждет своего часа. А жизнь

циклически движется по замкнутому кругу. Цикл зла, уравнивающего добра. Ведь не существует людей, несущих только зло, ведь даже Цейс не состоит только из зла. Просто его еще не коснулось добро. Твой отец был в этом уверен.

Иногда мне кажется, что если бы он решал судьбы мира на Страшном суде, можно было бы с легким сердцем ликвидировать ад.

Неожиданно она встала. Обмотав шею дочери шарфом и застегнув пуговицы пальто, сказала:

– А теперь перестань плакать! Вставай! Мне нужно покурить. Во что бы то ни стало. Но не здесь. Снаружи. Я даже не знаю, куришь ли ты? Ты куришь, Аня? – спросила мать с улыбкой.

Они вышли из церкви. Небольшая площадь у главных ворот была пустынна. Вся восточная и южная часть центра города пылала, как огромный факел. Небо с той стороны освещало огромное красно-желтое зарево.

– Ты не думаешь, – она повернулась к матери, – что Грюнерштрассе, наш дом...

Мать не дала ей закончить.

– Уйдем отсюда. Немедленно! Я не могу на это смотреть! – крикнула она. – Что эти сволочи делают с нашим Дрезденом!

Она крепко схватила дочь за запястье и торопливо повела за собой в сторону бокового фасада церкви, выходящего на Анненштрассе. С этой стороны небо над Дрезденом было ясное и звездное. Лишь кое-где его заволокли серые пятна дыма догорающих пожаров. В остальном оно было таким же, как всегда. Языки огня, вырывавшиеся из развалин домов вокруг церкви, напоминали поминальные свечи. Стояла тишина. Ужасающая тишина. Гробовая. Кладбищенская.

Они долго стояли молча.

– Аня, мы справимся! Вот увидишь! – воскликнула мать. – Если они больше не прилетят и эта ночь наконец закончится, мы сначала вернемся на

Грюнерштрассе. Если ее больше нет, выберемся из города и поедem... доберемся как-нибудь до Кельна. Под Кельном, в Кенигсдорфе живет папина сестра Аннелизе. Она всегда хотела, чтобы мы, когда все начало рушиться, переехали к ней. Она всегда твердила, что в деревне легче пережить такие времена. В деревне нет бомбоубежищ, зато есть молоко. Но твой папа не хотел уезжать из Дрездена. Он считал, что его место здесь. Здесь он родился, здесь всему обучился, здесь впервые меня поцеловал, здесь я родила ему тебя. Вот только умереть здесь ему не довелось, – вздохнула мать.

– Тетя Аннелизе стала еще большей чудачкой с тех пор, как умерла бабушка. Но это добрая и благородная женщина. Я обязательно должна написать тебе ее адрес на случай, если...

– На какой такой случай, мама? – прервала она нервно, почти истерично.

– На случай, если... что-нибудь произойдет с моим чемоданом и записной книжкой с адресами, – ответила мать, улыбаясь. – А сейчас я должна покурить, я очень хочу курить, – добавила она, скрутила две сигареты и, сжав обе губами, прикурила.

– Знаешь, твой отец рассказывал мне необыкновенные истории о небе, – начала она, глубоко затягиваясь и глядя вверх. – Он показывал созвездия и дарил мне звезды. Те, названий которых он не знал или их вообще не существовало, всегда получали мое имя, к которому он добавлял имя какой-нибудь богини. Когда родилась ты, он все их поменял на Анна, Аня, Аннушка, Анхен, Анечка, Анюта, Анеля, А1, 1А1, 11АН11 и так далее. Ты была для него всеми галактиками, всеми туманностями, всеми звездами и всеми планетами. Я иногда даже ревновала его к тебе.

Твой отец был романтиком, совершенно не приспособленным к этой жизни. Просто он родился слишком поздно и в совершенно не подходящем для него месте, – говорила мать, глубоко затягиваясь. – Я часто и сама не понимала: то ли он читает собственные стихи о своей любви ко мне, то ли декламирует Гёте или Байрона. Никто не любил меня так, как он. И никто так не признавался в любви. Никто. Понимаешь? Никто!

– А вот курить тебе не следует, – сказала мать, взглянув на дочь с улыбкой, хотя в глазах у нее стояли слезы. – Во всяком случае, при мне. Твой отец никогда бы

мне не простил, что я это терплю.

Давай вернемся в церковь, становится холодно, – торопливо добавила она.

Лукас сидел, а мать и отец прижимались к нему, стоя на коленях. Еврейские родители обнимали и целовали голову еврейского мальчика в мундире гитлерюгенда. В церкви Анненкирхе, в умирающем Дрездене. В нескольких метрах от Альбрехта фон Цейса, который, как всегда, в галстук и красной повязке со свастикой на левом плече сидел под Распятием и спокойно стриг ногти на пальцах ног. Рядом с двумя чумазыми белокурыми миловидными девчушками, которые локтями упирались о ступени лестницы, ведущей к разбитому мраморному престолу алтаря, и задумчиво смотрели на написанную на холсте Мадонну с младенцем.

Совсем как ожившее полотно «Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти.

«Гитлер, когда приезжает в Дрезден, всегда приходит со всей своей свитой посмотреть на эту картину, – вспомнила она слова отца, – сам не знаю зачем...»

В одну из суббот отец взял ее с собой в музей. Они провели там целый день. Она обожала рассматривать вместе с ним картины. Он видел в них то, чего она никогда бы не заметила. Она помнила, что они надолго задержались перед этой картиной Рафаэля.

– Верить ли, Гитлер иногда изумляет меня своей чувствительностью, – сказал отец после минутной задумчивости, вглядываясь в огромное полотно, висевшее на стене. – Может, это всего лишь пропагандистский спектакль, тоска по несбывшейся мечте? А может, зависть, ревность и месть? Или он действительно что-то чувствует? Не знаю. Возможно, он понимает красоту и хочет, чтобы и другие ею восхищались? Иначе забрал бы картину в Берлин или в свой дворец Бергхоф в Оберзальцберге. А он этого не сделал. Хотя мог. Он ведь может в этой стране всё.

Ты знаешь, что Гитлер мечтал стать художником? Какое-то время это было его идеей фикс. Одной из многих. Хотя у него совсем нет таланта. Он дважды

посылал свою бездарную мазню в венскую Академию художеств. В 1907 году его картины отвергли, годом позже он послал их снова. Венская комиссия и во второй раз дала ему от ворот поворот. Мне кажется, Гитлер очень тяжело пережил такое унижение. А ведь венские профессора-искусствоведы, если бы знали то, что мы знаем сейчас, могли изменить мировую историю. Разреши они ему заниматься живописью, у него, вероятно, не было бы времени писать «Майн кампф»... Многие считают, что антисемитизм Гитлера объясняется тем, что один из решающих голосов в этой комиссии принадлежал профессору-еврею. Мне кажется, это далеко идущее упрощение. Точно так же можно рассуждать о том, что Гитлер выбрал славян в качестве злейших врагов лишь потому, что какой-то поляк отбил у него невесту. Но все это неважно, я не о том хотел сказать...

Гитлера пленяет красота. Он понимает ее по-своему, иногда по-дилетантски, но все же понимает. Сам создавать красоту не может, но нуждается в ней. Иногда мне кажется, больше всего на свете, маниакально. Трудно себе представить, что при этом он может быть столь отталкивающей личностью, буквально материализуя вокруг себя зло и уродство. Стоило 14 июня 1940 года раздувавшемуся от гордости Геббельсу прогавкать из всех громкоговорителей о падении Парижа, как вскоре там появился Гитлер. Это был его первый визит в Париж. В город, которым он восхищался, в котором никогда не был и который сейчас покорил! И знаешь, что происходит потом? Он не стал принимать парад победы на Елисейских полях. Ему это было совершенно не интересно. Параду он предпочел посещение парижской Оперы. Он даже провел по городу экскурсию для группы скучающих генералов, показав им все закоулки. Он так хорошо знает Париж, что не повел их в одну художественную галерею, поскольку ему было известно, что ее уже в течение нескольких лет реставрируют. В день своей величайшей победы он не интересовался ничем, кроме архитектуры.

Всем известно, что любимый архитектор Гитлера Альберт Шпеер был также его близким другом. Вместе с ним Гитлер создал амбициозный архитектурный проект Берлина. Ему хотелось превратить этот город в столицу, которая превышала бы своими размерами и Париж, и Лондон, и Вену и напоминала бы Рим времен империи. Только в сто раз больше, и именно поэтому в сто раз безвкуснее. Воодушевленный Гитлером Шпеер придумал для Берлина монументальный Храм Света, который обожающая Гитлера Лени Рифеншталь показала в своем фильме. Это Гитлер со Шпеером планировали поставить в центре Берлина Триумфальную арку в два раза больше, чем парижская, и это Шпеер увлек Гитлера психоделическим проектом так называемого Народного дворца, который должен был вырасти напротив нее и вмещал бы число людей, сравнимое с населением Лейпцига!

Гитлер обожает прогулки по монументальному Берлину своей мечты. Он знает каждый дом этого города и часто упоминает о нем в своих речах. Самое интересное, что он практически цитирует при этом Макса Осборна, одного из самых известных немецких искусствоведов начала XX века. А ведь Осборн еврей, и после прихода Гитлера к власти его книги были сожжены.

Но и это не все. В Гамбурге должен появиться мост через Эльбу – грандиознее, чем Золотой мост в Сан-Франциско, а в Нюрнберге – возникнуть Дворец съездов, напоминающий римский Колизей. Работая над его проектом, Шпеер, по воле Гитлера, сформулировал и впервые применил на практике знаменитый «закон развалин», в соответствии с которым монументальные здания следовало проектировать таким образом, чтобы тысячелетия спустя даже их руины оставляли незабываемое впечатление, напоминая потомкам о величии «Тысячелетнего рейха».

К счастью, это всего лишь нереализованные фантазии двух фанатиков.

Архитектура для Гитлера – второй после живописи источник вдохновения. Это очень привлекательная и, с точки зрения пропаганды, идеальная сторона его личности. Разве не трогательно, что полновластный глава Третьего рейха проявляет такой глубокий интерес к искусству? Любовь к деталям. Потрясающие профессиональные знания, которые позволяют ему вести разговоры о фасадах, полутонах или простоте конструкции. Тем более странно, что именно Гитлер приказывал или позволял уничтожать столь многое из того, что было создано другими. Но об этом известно немногим. Зато народ знает о приятных человеческих слабостях фюрера: о том, что он, как и многие из нас, не может устоять перед сладостями и обожает торты, плачет во время просмотра сентиментальных фильмов, «проглатывает» приключенческие романы и умиляется слезливым, мелодраматическим опереткам. Он улыбается народу с фотографий, держа на руках белокурых детей, любит закатом солнца в горах, бывает задумчив. К тому же он надевает к светлым костюмам черные носки. Наш фюрер – самый обычный человек. Почти домашний в этих своих плохо подобранных носках народный герой. Такой человек ни в коем случае не может быть тираном. В нем нет ничего от монарха. Нельзя не умилиться, когда читаешь в газетах высказывания Розы Миттерер, которая в тридцатых годах была прислугой в его баварской холостяцкой резиденции Бергхоф, о том, что Гитлер «обаятельный мужчина: он находил для меня только приятные слова и был при этом замечательным хозяином». Он такой свойский. Такой добродушный, наш немного рассеянный фюрер...

– Но это так, Аня, к слову. Сам не знаю, почему я все это вспомнил, но мне захотелось рассказать тебе, пока не забыл, – сказал отец. – Да бог с ним, с фюрером. Посмотри-ка туда. Видишь этих двух чудесных ангелочков в нижней части картины? – спросил он, указывая пальцем. – Для меня это доказательство гениальности Рафаэля. А еще – главный сюжет истории о рождении Христа. Существуют тысячи картин, изображающих Марию с Младенцем, но только на этой все выглядит таким... человеческим. Может быть, поэтому Гитлер так охотно сюда приходит.

Как ты думаешь, почему у этих двух забавных малышей с ангельскими крыльями такой комический вид? Потому что они ужасно скучают. Им нельзя играть. Они чувствуют себя заброшенными и лишними. А третий малыш, на руках у Марии, в их глазах такой же ребенок, как и они. Им просто хочется с ним поиграть. Но нельзя. Кроме того, они точно знают, что Иисус и сам этого не хочет. Несмотря на то, что он очень на них похож, он совсем другой, отстраненный, он несет в себе какую-то великую тайну. Крылатые мальчуганы смирились с этим, но разочарования скрыть не могут.

Этой небольшой деталью Рафаэль рассказал нам прекрасную историю. Передать такое может только изображение. Слова тут бессильны. Описать то, что видишь, – легко. Но создать из этого полноценную драму, имеющую начало и конец, удастся лишь немногим.

– А знаешь, я рад, что ты занялась фотографией, – добавил отец, обнял ее и поцеловал в лоб.

Вообще-то здорово, что эта картина находится здесь, в Дрездене. Ее в 1754 году привез из Рима польский король Август III, который был одновременно курфюрстом саксонским. Твоя бабушка уверяет, что полякам страшно не везло с королями. По ее мнению, они были либо пьяницами, либо развратниками, либо сумасшедшими. Отец Августа III – она всегда об этом говорит, когда выпьет слишком много вина, – имел триста внебрачных детей и сам с удовольствием расстреливал собак и кошек из окон своего варшавского дворца. Бабушка Марта, видимо, забыла, что Август III, как и его отец, на самом-то деле был чистокровным немцем, а на польский престол он попал в результате выборов. Но не просто так. Чтобы править Польшей, непременно следовало принять католичество и вдобавок построить в протестантском Дрездене католический храм. Второе условие было выполнено только при Августе III. Так на Театральной

площади, напротив главного входа во дворец Цвингер, возникла церковь Хофкирхе. Ее возвели на средства жителей Дрездена, и они еще очень долго не могли забыть этого Августа. А Хофкирхе в течение многих лет называли «немой церковью». Горожане не согласились, чтобы на ней установили колокола. Долгое время она была для них как бельмо на глазу. Мало того, что католическая, так еще и с польским гербом над входом.

У нас, у немцев, как мне кажется, существует странный комплекс по отношению к полякам. Мы высокомерно считаем их неотесанными варварами, которые засыпают по вечерам под столами в еврейских кабаках, а с утра страдают похмельем. А еще непунктуальными, постоянно чем-то одурманенными, непредсказуемыми, строптивыми, с непомерной гордыней, причем совершенно беспочвенной. Но я не понимаю, за что их так люто ненавидят нацисты.

Я только раз был в Польше, Анечка. Ну, не совсем в Польше – рядом. В Данциге. По приглашению тамошнего университета. В августе тридцать девятого. Незадолго до войны, которая началась через несколько дней. Когда Данциг отобрали у Польши, он оказался как бы нейтральным, под протекторатом Лиги наций. Политически не немецким, но и не вполне польским. Точнее, польским только исторически. Помню, возвращаясь на поезде в Дрезден, я прочел в берлинской газете абсурдный заголовок: «Варшава угрожает разбомбить Данциг! Дикий приступ извечного польского безумия!». А я возвращался именно из Данцига и не сомневался, что все обстоит как раз наоборот. Это солдаты немецкого вермахта занимали почти весь отель, в котором я остановился. И по улицам якобы нейтрального города днем и ночью демонстративно разъезжали немецкие военные автомобили.

Поляков в Германии презируют. И в то же время завидуют их романтичности, чувствительности, порывистости и свободолобию. Это для них самое важное. Именно свобода. А сразу после этого – Бог. Может быть, даже сначала Бог, а потом свобода. Твоя бабушка наполовину полька. Поэтому она так религиозна и так строптива. И так красива. Потому и ты такая красивая. Ты знаешь, что бабушка умеет молиться только по-польски? Хотя прекрасно знает «Отче наш» по-немецки. Меня она, конечно, учила молиться по-немецки, но сама читает молитвы только по-польски. Я часто подслушивал в церкви. Бабушка считает, что и Бог молится только по-польски. Потому что, по ее мнению, Бог может быть только евреем из Польши. Никем другим. Я как-то спросил ее, совсем недавно, какому Богу должен молиться по-польски Бог, если Он сам является Богом. И знаешь, что ответила твоя ортодоксальная бабушка Марта? «Тому, который

лучше нынешнего и который когда-нибудь простит ему Гитлера». Так она и сказала, Анечка. Не задумываясь...

Она обожала быть с отцом. Когда угодно. Где угодно. Всегда и всюду. В комнате возле печки, в своей комнате у кровати, на прогулках, в его университетском кабинете, похожем на какой-то бессистемный архив, в библиотеке, в аудитории, когда он рассказывал студентам смешные истории, а они, сами того не замечая, старательно их конспектировали. Даже на кухне, когда они с отцом вместе мыли посуду и чистили картошку. А больше всего она любила его слушать. Ее отец был очень мудрым и необыкновенно добрым человеком. Жаль, она не успела сказать ему об этом, когда он был еще жив. Она наивно верила, что он будет жить очень-очень долго, и она еще успеет это сделать. О родителях всегда так думают. Что они будут жить очень долго. И когда те вдруг уходят, невысказанным остается самое важное, что мы откладывали на потом. Она могла бы утирать ему слезы, а он неумело притворялся бы, что это из-за попавшей в глаз соринки. Он сильнее прижался бы к ней, а она нежно гладила бы его по голове и снова и снова влюблялась в него. Да, она не просто любила своего отца, она постоянно в него влюблялась. «Папа, ты для меня пример. Я хочу быть такой, как ты». Две такие простые и такие важные фразы. Она говорит ему это сейчас, перед тем как заснуть. Сильно зажмуривает глаза и крепко сжимает руки в кулаки. И ей кажется, что она чувствует на стиснутых пальцах следы его слез...

Она помнит, что это была последняя суббота, которую они провели с отцом. Вскоре после этого они с мамой стали ждать от него вестей.

Ей казалось, она висит в воздухе на каких-то невидимых канатах, прямо над сценой, и наблюдает за генеральной репетицией поставленного по произведению христианского автора жуткого сюрреалистического спектакля о конце света. Разволновавшись, она позабыла, что и сама принимает в нем участие. Здесь, на этом амвоне, в Анненкирхе, в центре умирающего Дрездена.

Она фотографировала и жалела, что не может запечатлеть движения, жесты, чередующиеся взгляды в их реальной последовательности. Она бесповоротно упускала возможность поймать мгновения, которые никогда более не повторятся. Волшебство фотографии состоит не только в игре света, но прежде всего в кульминации мгновения. Так она это называла. И боялась упустить эту кульминацию, когда, после каждого щелчка затвора фотоаппарата, ручкой

перематывала пленку. Она нервно поглядывала на цифры, отсчитывавшие, сколько кадров осталось до конца кассеты. Когда она сделала первый снимок, на счетчике стояла цифра «двадцать восемь». Она решила, что остановится, когда выскочит цифра «восемь». Ей хотелось оставить место для нескольких кадров, которые она сделает «потом». Что будет «потом» и наступит ли это «потом», она не знала...

Она удивилась, почему вдруг Цейс оказался здесь. Трудно было представить, чтобы эсэсовца такого ранга не пустили в бомбоубежище. К тому же она предполагала, что Цейсы могли тайком построить бомбоубежище под своей виллой. Выходит, что это не так. Возможно, Цейс слишком поздно узнал о налете и просто не успел спрятаться в безопасное место. У входов в бомбоубежища, в одичавшей, обезумевшей толпе отчаявшихся людей, его безупречный эсэсовский мундир не давал никаких преимуществ. Совсем наоборот. Вызывал подспудную агрессию, ненависть, желание отомстить. В Дрездене давно знали, кто повинен в том, что здесь творится. А то, что еще совсем недавно все хором кричали: «Да здравствует!», «За рейх!», «За фюрера!» и «Вечная слава!» – быстро забылось.

Толпа вела себя точно так же, как сначала в Греции и Риме, а потом повсюду. Ничего нового. У толпы нет мозга, поэтому она бездумно ликует по любому поводу, стоит такому поводу появиться. Толпу очень легко обольстить. Гитлер – а в еще большей мере Геббельс – прекрасно изучили ее психологию. Без поддержки толпы НСДАП осталась бы всего лишь незначительной партией усатого психопата из Австрии, без политического веса и влияния. Так считал ее отец. Они часто говорили об этом. Отец пытался понять все. В том числе и толпу. И объяснить ей. Он считал, что в каждой толпе есть те, кто стоят с краю и внимательно ко всему присматриваются. А потом делают соответствующие выводы и создают свою собственную толпу. Гитлер без толпы – никто. Отец рассказал ей о необычном фото, опубликованном в дрезденской газете в ноябре 1936 года. Поскольку для нее изображение всегда было решающим аргументом, он спустился в подвал и принес старую, покрытую пылью папку. И показал ей это фото. Его сделали с самолета или с какой-то высокой башни. Фото было отличного качества. На нем плотная толпа, собравшаяся на одной из площадей Дрездена, вытягивает руки вверх с криками «Хайль Гитлер!». Несметное число тел, слившихся воедино. Как если бы это была одна рука. И только один-единственный человек стоит в задумчивости, сложив руки на груди. Самый естественный человек на фотографии. Хотя в этой толпе он не похож на живого человека, скорее на статую. Его словно искусственно поместил туда неопытный любитель фотомонтажа, так нереально он выглядит. Отец гордился этим человеком. «Я бы хотел с ним познакомиться и поблагодарить его, – сказал он,

закрывая папку. – У каждой толпы существует символ ее абсурда. Этот мужчина и есть такой символ. – И добавил: – На толпу нельзя полагаться. Она как граната с сорванной чекой. А толпа, которой угрожает смертельная опасность, вообще непредсказуема».

Альбрехт фон Цейс прекрасно об этом знал. Эсэсовцев специально обучали, как правильно вести себя в толпе. Должно быть, сам Цейс и обучал. На входных воротах его виллы висела позолоченная табличка, на которой было выгравировано: «Проф. д-р Альбрехт фон Цейс». Это должно было внушать глубочайшее почтение даже почтальону. В Германии, если у кого-то перед фамилией не стоит «фон», ему хочется иметь хотя бы аббревиатуру «д-р». У Цейса было и то и другое, но к тому же существовало и эффектное «проф.». Триумф тщеславия. Интересно, что он хотел бы, чтобы написали на его могильном памятнике? Табличку на доме Цейсов каждый день тщательно полировал садовник.

Она была не в состоянии понять, как человек, имеющий звание профессора, мог стать эсэсовцем. По ее глубокому убеждению, эсэсовцы, подобно вшам в грязных волосах, заводятся только в среде деклассированных «пролей», не умеющих толком читать и писать. Отец спросил ее, кто такие «проли». Она удивилась, что он этого не знает. В ее школе всем было известно, кто такие «проли», – их презирали и в то же время боялись. Это были безмозглые создания в коротких баварских штанах на лямках, с выструганными из доски макетами пистолетов за поясом, нарисованной чернилами свастикой на плече и пеной на губах. Миниатюрные эсэсовцы *in spe*. [2 - *In spe* – в надежде (лат.). Применяется для обозначения чего-то предполагаемого, чего желают, но оно еще не осуществилось. (Прим. ред.)]

Отец объяснил ей, что все как раз наоборот: эсэсовцы чудесным образом трансформировались из «пролей» в профессоров. Это типично для любой диктатуры – во «времена, пораженные раковой опухолью», ученые звания присуждают не за ум, знания и трудолюбие, а за преданность режиму. А чтобы хранить верность диктатору, нужно быть законченным идиотом. Таким вот «пролем»...

И все же в любом случае Цейс – даже без профессорского звания – не рискнул бы появиться у входа в общественное бомбоубежище. Потому что даже животное способно чувствовать исходящую от другого животного и направленную на него ненависть. А ненависть к эсэсовцу в толпе у бомбоубежища, как ни крути, была в

сто раз сильнее, чем предписываемая властями ненависть к евреям. Навязанная ненависть неестественна. Любить и ненавидеть можно лишь по собственной воле. Никакая пропаганда не способна заставить полюбить. Ненавидеть – способна. Но объектами ненависти часто становятся именно те, кто заставляет ненавидеть.

Она решила, что Цейс, как и все остальные, спрятался в церкви, оказавшись в безвыходной ситуации. Но не могла понять, почему он все еще здесь. Ведь он мог уйти отсюда уже после первого налета.

Она смотрела, как он сидит под алтарем и стрижет на ногах ногти. И вдруг заметила, что к нему приближается ее мать. Медленно подойдя к Цейсу, та присела рядом на ступеньку лестницы. Их тела почти соприкасались. Ее мать заговорила. Через мгновение Цейс, не поднимая головы, отодвинулся подальше, а мать осталась на своем месте. Она уже выкрикивала что-то в адрес Цейса. Подняла руки, сжала кулаки, начала нервно жестикулировать. Потом хлопнула ладонями по ступени. С амвона ей не было слышно, о чем говорит мать. Та была слишком далеко. К тому же за стенами церкви слышались какие-то странные звуки. Вскоре она узнала их, хотя сирены молчали. После первой взорвавшейся бомбы, она все поняла: очередной налет...

Она оглянулась. Место у алтаря в мгновение ока опустело. Там остались только Цейс и ее мать. Будто происходящее их совершенно не касалось. Мать продолжала жестикулировать. Цейс стриг свои ногти. Мать пыталась до него докричаться, но ее голос заглушал грохот взрывов.

Она стремительно перебежала в дальний угол амвона. Девушка в синем шерстяном платье лежала на полу, опустив голову на грудь мужчины в мундире. Он нежно и умиротворенно гладил ее волосы. Иногда приподнимал голову и целовал их. Она легла рядом с ними. Девушка подвинулась, освобождая место, и крепче прижалась к мужчине. Она закрыла глаза, но даже сквозь сомкнутые веки ощущала вспышки взрывов, отблески которых были видны через пробоину в крыше. Она прижалась к девушке. Мужчина, протянув руку, обнял их обеих. Она чувствовала прикосновение его ладони на своих плечах. Закрыла глаза. И опять строчками Рильке стала молить о наступлении тишины. Ведь в прошлый раз, когда вместе с прижимавшимся к ней Лукасом они просили об этом, тишина настала. Девушка задрожала и расплакалась. Потом вдруг крепко сжала ее ладонь. «Я люблю тебя, люблю тебя, помни, что я люблю тебя...», – повторяла девушка вслух. Она тоже полюбила ее. На это мгновение. А может быть,

навсегда. На всю жизнь. В минуту всепоглощающего страха человек способен возлюбить каждого, кто разделит с ним этот страх. Достаточно быть рядом. Кто бы то ни был.

Она вспомнила бабушку Марту. Как та умирала...

В тот полдень они сидели друг напротив друга за кухонным столом. Пили «чай». Когда в чашке нет ни чая, ни сахара, а есть лишь горячая вода, помогают фантазия и чувство юмора. Даже если идет война, а может, именно поэтому. За это она и любила свою бабушку и восхищалась ею. Даже когда яиц в доме не было и в помине, бабушка Марта каждый день в три часа пополудни звала всех на кухню на Kaffe und Kuchen.[З - Кофе с пирожными (нем.)] Раскладывала на столе кружевные салфетки, ставила на них фарфоровые чашки и клала на блюда по кусочку хлеба с конфитюром. А иногда только хлеб.

В тот день они были одни. Мать отправилась в город раздобыть чего-нибудь съестного. Вдруг послышался визг тормозов и, через минуту, громкий стук в дверь. Она быстро подбежала к окну. Увидела два мотоцикла и автомобиль. По ступеням лестницы застучали подковы сапог.

– Откройте! Откройте немедленно!

Бабушка Марта медленно встала из-за стола. Неторопливо подошла к зеркалу. Спокойно поправила прическу, будто это было сейчас важнее всего. Обернулась, посмотрела внучке в глаза. И, не произнеся ни слова, направилась к дверям.

– Вы прячете у себя еврея! – рявкнул с порога офицер в черном мундире.

Четверо солдат с автоматами влетели в комнату.

– Никого мы тут не прячем. Мы одни. Нету здесь никаких граждан еврейского происхождения, – спокойно ответила бабушка, невозмутимо глядя в бегающие глаза офицера.

Он на минуту отвернулся, натянул на руку черную перчатку, тщательно разгладил ее другой рукой и с размаху ударил. Она все отлично видела. И

закричала. Но было поздно. Седые волосы бабушки, стянутые в пучок, растрепались и закрыли лицо. Кончики волос обагрились кровью. Она увидела, как бабушка оседает на пол.

– Обыскать дом! Проверить везде! – орал офицер. – Где еврей?!

Она пыталась подбежать к лежавшей на полу бабушке, но солдат преградил ей дорогу и прижал прикладом к стене. Она чувствовала прохладу металла на шее и его дыхание на своем лице. От него несло пивом.

– Сука старая, евреи, к твоему сведению, не граждане, а клопы. Клопы! Ясно тебе?! Где еврей? – твердил офицер и обутой в сапог ногой пинал лежавшую на полу женщину. – Где еврей?!

Молодой солдат, прижимавший девушку к стене, задрал ей юбку и схватил за ляжку. Резким движением разорвал трусики и вставил палец внутрь. Она закрыла глаза и стиснула зубы. Она испытывала отвращение и боль. Главным образом отвращение. Согнув колено, она изо всех сил двинула солдату в пах. Разразившись проклятиями, он ударил ее в живот и под грудь. Это было очень больно.

– Искать еврея! Ты тоже, Вольфганг! – зверея от бешенства, крикнул офицер.

Вольфганг оставил ее в покое и послушно отправился «искать еврея». Он подошел к стеллажу с книгами и перевернул его. Стоявшая на одной из полок фотография отца в стеклянной рамке упала на пол и разбилась. Она видела, как его сапог топтал фотографию. Набросилась на него с кулаками, с трудом дотягиваясь до его лица. Она до сих пор не понимает, почему тогда стала кричать по-английски:

– You fucking son of a bitch, you fucking less than nothing! I recognize you, you fucking minus zero! You could hardly spell your fucking own, fucking name without errors in the school! You are a fucking nobody, and you will always be!.. – кричала она, осыпая его ударами.

Вольфганг, скорее всего, не понимая ни единого слова, отмахивался от нее, как от назойливой мухи. Наконец он энергично оттолкнул ее и спокойно удалился. Она упала и ударилась головой о стену. Почувствовала во рту вкус крови. Сразу

же попыталась подползти к лежавшей на полу бабушке. Но офицер не дал ей приблизиться. Стоя между ними, грубо оттолкнул сапогом. Наклонился над бабушкой, сжимая сигарету в губах, и процедил:

– Запомни, сука старая, евреи не граждане. Они вши и клопы...

Она видела бабушкино лицо в промежутке между широко расставленными ногами офицера в черном мундире. Та невозмутимо улыбалась, глядя эсэсовцу в глаза. Была ли то последняя бабушкина минута? Она не знает. Но когда комната опустела и наступила тишина, бабушка была мертва...

Человек способен возлюбить каждого, кто разделяет с ним его последнюю минуту. Кто бы то ни был...

Она крепко прижалась к девушке в синем платье и прошептала ей на ухо:

– Я тоже тебя люблю.

По-прежнему слышался гул самолетов и грохот взрывов. Неожиданно она почувствовала, как пол под ними заходил ходуном. Видимо, одна из бомб упала совсем близко. Здание содрогнулось от взрывной волны. Почти сразу часть крыши вокруг пролома, возникшего во время предыдущего налета, оторвалась и с грохотом рухнула вниз. Потом все стихло. Доносился лишь затихающий вдали гул самолетов. Она вскочила на ноги и подбежала к балюстраде амвона. И увидела Цейса – он склонился над фрагментом свода, которым придавило ее мать.

Она сбежала вниз по лестнице. Вместе с Цейсом они попытались поднять каменную балку свода. Вскоре рядом оказались Ротенберги с Лукасом. А еще через минуту появился садовник Цейсов. Тот самый, что собирал черешню. Цейс, покрикивая, раздавал приказы. Мать Лукаса стояла на коленях возле головы ее матери, пытаясь просунуть под балку камень, чтобы приподнять ее хоть на миллиметр. Отец Лукаса стоял тут же. Садовник обращался к Ротенбергам на идише. Он говорил с ними на идише! Вдруг каменная балка сорвалась с одной из подпорок, которые подкладывала под нее мать Лукаса. Цейс разразился бранью. Лакей подошел к нему и сказал:

– Не кричи, отец, это не ее вина. Слышишь?! Не кричи! Хотя сейчас не кричи, не надо... – Он встал между Цейсом и Ротенбергом, обеими руками ухватился за балку и сказал: – Давайте вместе! Изо всех сил. Вверх...

Мать Лукаса без колебаний нырнула под балку и подставила спину, пыталась приподнять ее.

А Анна опустилась возле матери на колени. Легким движением смахнула желтоватую пыль с ее лица и волос. Цейс присел рядом и вытащил из кармана мундира жестяную бутылку. Сначала окропил женщине лицо, потом поднес бутылку к ее рту. Струйка воды увлажнила сжатые губы. Цейс провел по ним пальцем, распределяя воду.

– Уважаемая! Уважаемая госпожа Бляйбтрой, очнитесь! Я все вам объясню... я просил за вашего мужа, обращался по его вопросу в Берлин, – сказал он, поглаживая ее лицо. – Вы не можете уйти, не выслушав меня, мы ведь еще не закончили разговор. Вы не можете! Госпожа Бляйбтрой, я очень прошу... Я вам приказываю!

Минуту спустя подошел молодой мужчина в черной сутане с маленькой черной книжкой в руках. Ротенберги и садовник куда-то подевались. Цейс повернулся к мужчине в сутане и властно приказал:

– Я требую немедленно привести сюда врача. Вы слышите?! Немедленно! Это приказ! Меня зовут Альбрехт фон Цейс! Профессор доктор Альбрехт фон Цейс...

Не обращая на него внимания, мужчина в сутане поднял свисавшую со ступеньки руку матери. Прикоснулся к запястью. Посмотрел на часы. Потом снял очки и приложил их к губам матери. Внимательно осмотрел стекло, подняв очки к свету, струившемуся из дыры в крыше. И обращаясь к Цейсу, спокойно, но со скрытой иронией в голосе, сказал:

– Уважаемый господин профессор и доктор, я тоже доктор. К сожалению, эта женщина мертва. Я немедленно сообщу санитарам, чтобы они убрали тело. И составлю соответствующий акт. У меня есть четкие инструкции. Это приказ кое-кого повыше вас званием. Мы обязаны незамедлительно избавляться от трупов, чтобы избежать эпидемии. Неизвестно, как долго будут продолжаться налеты. Надеюсь, вы, господин профессор, это понимаете. Такое сейчас время.

Гауляйтер Мучман разослал на этот счет указания, с которыми вы, полагаю, знакомы. Во всяком случае, должны быть знакомы, судя по вашему чину.

Потом священник раскрыл свою черную книжку и извлек из кармана сутаны карандаш.

– Являетесь ли вы членом семьи погибшей, господин профессор? Может быть, эта несчастная была вам знакома? Возможно, это был близкий вам человек?

Альбрехт фон Цейс встал. Поправил галстук. Тщательно застегнул мундир на все пуговицы. Стряхнул с него пыль. Сорвал красную повязку со свастикой. Бросил ее в сторону священника и отошел. Он поднялся по ступенькам к алтарю. Встал на колени. Вытащил из кобуры пистолет. Вставил его себе в рот и выстрелил.

Не веря своим глазам, она глядела на его лежащее перед алтарем тело. Вдоль цоколя мраморной скамьи потекли ручейки крови. Туда бросился садовник.

– А вы, сударыня, не являетесь ли членом семьи этой особы? Может быть, она была вам близка или знакома? – услышала она спокойный голос мужчины в сутане. Как будто ничего не случилось.

– Эта «особа», как ты в своем безграничном милосердии изволил выразиться, была мне близка настолько, что тебе, блядь ты такая, и не снилось! Я ее дочь, – медленно процедила она сквозь зубы. – И не смей больше прикасаться к моей матери. А тем более молиться за нее, если тебе это все же придет в голову. Богу не нужны твои лицемерные молитвы, Он все равно не захочет их слушать и не поверит тебе. Ты всего лишь гнусный нацист, святоша, бюрократ с черным блокнотом. Вон отсюда! Чем скорее, тем лучше. Пошел на хуй, каналья в сутане! Святоша с карандашиком!

Мужчина в сутане молча, с бесстрастным выражением лица, аккуратно записывал все, что она говорила, время от времени переворачивая страницы. Она, не видя его реакции, кричала все громче. А он только время от времени поправлял очки и поглядывал на часы. Когда она закончила свою тираду и затряслась от истерических рыданий, он неожиданно вытащил из кармана брюк точилку и стал точить карандаш. Стружки медленно падали на лицо ее матери.

Она встала. Слезы мгновенно высохли. Она чувствовала ненависть. Всепоглощающую ненависть. Только ненависть. И желание отомстить. Пульсирующую в висках жажду мщения. Она выпрямилась. Поправила прическу. Как бабушка. Повернувшись к священнику спиной, наклонилась и протянула руку к одному из валявшихся на полу камней. Выбрала самый большой, какой могла удержать. Повернулась и изо всех сил швырнула его. Мужчины в сутане не было. Камень скатился по ступеням алтарной лестницы и остановился у деревянной скамьи в восточном нефе. Маленький чумазый мальчик выполз из-под охапки соломы и подбежал к камню. Подобрал его, подошел к ней, положил камень к ее ногам, улыбнулся и торопливо отошел. Стоя в нескольких метрах поодаль, он ждал, когда она снова бросит камень в его сторону. До нее дошло, что он хочет поиграть с ней. Мертвое тело матери лежало у ее ног, в нескольких метрах отсюда лежал труп Цейса, а она, как замороженная, словно отгораживаясь от окружающего мира, бросала камень мальчику! Будто все, что минуту назад случилось, не имело никакого значения. Она бросала, следила за тем, как камень катился по паркету, потом за тем, как мальчик поднимал своими тонкими ручонками и бежал к ней. И снова бросала. Катящийся камень, бегущий мальчик, катящийся камень, бегущий мальчик... Злость, кипевшая в ней, уходила. Подступала тоска, возвращалось отчаяние.

Наконец мальчику надоело играть. Он пробежал мимо. Она медленно повернулась, следя за ним глазами. Четыре санитары в покрытых пятнами крови белых халатах поверх армейских шинелей протискивались сквозь толпу к алтарю. Они подошли к священнику. Перекинулись с ним парой слов и двинулись в сторону Цейса, носилками раздвигая толпу сгрудившихся вокруг него людей. Она подбежала к алтарю. Присела рядом с матерью. Гладила ее по голове. Плакала. На запястье Цейса с помощью резинки прикрепили желтую бирку. Один из санитаров, склонившись над телом, что-то на ней написал. Затем оторвал от бирки кусочек, поднял руку вверх и крикнул:

– Родственники есть?!

Толпа затихла. Никто не отзывался. Санитар повторил вопрос. Она искала глазами садовника, сына Цейса. Он стоял в темном закутке за алтарем, с Ротенбергами. Она не могла разглядеть его лица. Хотела было подойти к нему. Но быстро одумалась. Ведь сын Цейса был евреем! Она подошла к санитару.

– Этот человек, насколько мне известно, был здесь один. Без родственников, – солгала она.

– А вы ему кто? – спросил полный санитар, внимательно разглядывая ее.

– Как это кто?

– Ну кто? Он был офицером СС. В подобных случаях мы должны писать рапорт. Насколько вы были с ним близки?

– Я?! Близка? Бред какой-то! Я его ненавидела, – возразила она и поспешно удалилась.

Санитары погрузили тело Цейса на носилки. Прикрыли разmozженную пулей голову снятым с него же кителем. Двое других подошли к ней. Не проронив ни слова, положили тело матери на носилки. Повесили желтую бирку на ее запястье. Один вручил Анне кусок желтой бумаги. Она встала и пошла за ними. У ворот стоял грузовик. Один из санитаров, проходя мимо, крикнул водителю:

– Эта здесь последняя!

Кто-то поднял брезент над задним бортом грузовика. Она посмотрела туда. Увидела груды трупов. Санитары подняли носилки. Мужчина в белом халате, стоявший в кузове, наклонился и энергичным движением затащил их внутрь. Брезент опустился. Санитары направились к кабине. Все происходило очень быстро. Она хотела закричать и побежать за ними. Но у нее пропал голос. И не было сил сдвинуться с места. Все закружилось перед глазами. Она потеряла сознание.

Дрезден, Германия, около полудня, четверг, 15 февраля 1945 года

Она убедилась, что фотоаппарат, аккуратно завернутый в свитер, лежит в чемодане, и вышла из церкви через боковую дверь. Морозный воздух февральского дня взбодрил ее. Сквозь тучи проглядывало солнце. Сильный ветер поднимал серые клубы пыли, забивавшейся в глаза и рот. Обмотав шею шарфом, она застегнула пальто на все пуговицы, натянула на голову шерстяную шапку и двинулась в сторону Грюнерштрассе. Спустя какое-то время, одуревшая от свежего воздуха и ослепленная светом, она почувствовала, что очень устала.

Тяжело дыша, остановилась, поставила чемодан и повернулась лицом к церкви, которая среди прочих разрушений была похожа на полуразвалившуюся гробницу. На жуткий обрубок, одиноко торчащий на кладбище, по которому прошла колонна танков. Глухие стены, зияющая дыра в кровле, пустые глазницы окон, некогда закрытых витражами, и распахнутые настежь двери напомнили ей подмытый волнами замок из песка. Они с отцом возводили замечательные песочные замки, и о каждом он мог рассказать необыкновенную историю. О привидениях, духах, дамах в белых одеждах, блуждающих в замке по ночам, о камерах пыток, потайных переходах, башнях, отважных рыцарях и ожидающих их прекрасных принцессах. Иногда к ним присоединялась – на балтийском побережье – мама, которая вглядывалась в лицо отца и слушала его так, будто встретила впервые...

Она подняла чемодан и двинулась дальше, с трудом узнавая места, где еще вчера были улицы, перекрестки, стояли здания и росли деревья. В какой-то момент ей вспомнились слова бабушки о том, что «когда-нибудь наступит расплата, ведь кара за причиненное зло неизбежна». Она с ужасом осознала, что ей совсем не жаль город. Не жаль его выжженных стен, рассыпающихся в прах при малейшем прикосновении, не жаль даже последнего камня в этом городе, уничтоженном в наказание за зло, как и предсказывала бабушка. Она бесцельно брела, не чувствуя боли, и не могла выжать из себя ни слезинки. Вzbиралась на обломки домов, проваливалась в засыпанные мусором и камнями воронки. Она чувствовала смрад обгоревшей плоти, доносившийся из вентиляционных труб убежищ и подвалов. Проходила мимо обугленных трупов, обгоревших детских колясок, распахнутых чемоданов с вываливающимся из них шелковым женским бельем, протезов, прикрепленных к оторванным конечностям, детских игрушек, присыпанных песком, оторванных от тел голов с открытыми глазами или пустыми глазницами, сплетенных в прощальном жесте рук, лежащих в нескольких метрах от тел, которым они когда-то принадлежали.

Она остановилась. Села на чемодан и глубоко дышала, стараясь успокоить тянущую боль в груди. Дальше идти не было сил. Она подошла к обвалившейся стене, за которой совсем недавно была кухня чьей-то квартиры, и опустилась на колени. Ее вырвало. Когда позывы рвоты прошли, стало легче. Она поднялась. К остаткам стены, единственной уцелевшей из всего здания, была привинчена кухонная раковина. На столе рядом с раковиной стояла кружка с недопитым чаем, неподалеку на белом фарфоровом блюде лежал надкусанный кусок хлеба с маслом и засохшим куском сыра. На стене над раковиной висело зеркало, покрытое ржавыми потеками. На маленькой стеклянной полочке под зеркалом стояли четыре алюминиевые кружки с зубными щетками. Две из них явно были

детские. Она смотрела на все это, как на внушающую ужас картину. Остатки нормальной жизни, сохранившиеся здесь, в этом месте, до наступления конца света, были похожи на тщательно продуманную сюрреалистическую инсталляцию свихнувшегося художника. Но это была вовсе не придуманная композиция, призванная изумить истинных ценителей. А самый что ни на есть реальный кусочек города Дрездена. Это было в полдень, в четверг, 15 февраля 1945 года.

Она бегом вернулась к чемодану. Поспешно вытащила фотоаппарат. Она помнила, что у нее осталось восемь кадров. Медленно подошла к стене с раковиной и остановилась в нескольких метрах от руин. Терпеливо дождалась, пока солнце выглянет из-за рваной серой тучи. Тщательно поставила выдержку и диафрагму, нажала на кнопку затвора. На висках у нее выступил пот. Она сорвала шерстяную шапку. Спрятала фотоаппарат в кожаный футляр и пошла было к чемодану, но, сделав пару шагов, остановилась, пораженная нелепостью пришедшей в голову мысли. Медленно приблизилась к раковине. Оглядевшись, не видит ли кто, повернула рукоятку крана. Оттуда потекла коричневая жижа, но уже через несколько секунд пошла кристально чистая вода. Глядя на воду, она расплакалась. Подставив лицо под струю и раскрыв рот, начала жадно пить воду. Город был все-таки жив...

Она шла дальше. Фотоаппарат висел на груди, и время от времени она хваталась за него. Считала оставшиеся кадры. Придавленное обломками балкона тело женщины с мертвым младенцем на руках. Еще шесть...

Неторопливо, стараясь оттянуть момент встречи, она приближалась к своему дому. Замедляла шаг, останавливалась, внушала себе, что должна отдохнуть. Ей встречались люди. Они сидели или лежали возле рухнувших лестниц, вывороченных ворот и калиток, обвалившихся стен, – всего того, что когда-то было их домами. Своим присутствием они словно свидетельствовали, что это их территория, их дом, и только они имеют на него право.

Она шла и шла. Мраморный прилавок напомнил ей, что здесь был магазин мясника Мюллера, у которого бабушка покупала ветчину. На припорошенной остатками штукатурки мраморной плите лежали перевернутые весы, покрытые коричневыми пятнами запекшейся крови. Еще пять...

Наконец она добралась до Грюнерштрассе. На перекрестке появились военные грузовики, которые свозили сюда трупы с окрестных улиц. Они разворачивались

и задним ходом подъезжали как можно ближе к краю рва, обнесенного низким каменным забором. Солдаты разгружали наполненные телами кузова, укладывая их поперек ямы. Когда весь ров был заполнен слоем тел, сверху клали следующий. Молодой мужчина в белом, запачканном кровью халате сидел с сигаретой в зубах на деревянном стуле, на каменном возвышении примерно посередине рва. Сложив покойников в яму, солдаты подходили к нему, и он делал какие-то пометки в разложенной на коленях тетради. Еще четыре...

Ров разрезал Грюнерштрассе поперек, по всей ширине. Поэтому ей пришлось свернуть на Циркусштрассе, чтобы потом, следуя по Зайдницерштрассе, снова выйти на Грюнер уже за рвом. Зайдницерштрассе, по большому счету, уже не была улицей. Стены разрушенных зданий образовали что-то наподобие дюны из перемолотых в пыль кирпичей. Она поднялась на вершину «дюны» и пошла дальше. Неожиданно послышался плач ребенка. Маленькая девочка, сидевшая рядом со стариком в шляпе, смотрела на свою обмотанную куском серой фланели руку и, плача, без конца повторяла одну и ту же фразу: «У меня всего семь пальцев, дедушка, у меня всего семь пальцев...».

Заметив проходившую мимо Анну, старик встал с камня, на котором сидел, и направился к ней.

– Нет ли у вас случайно морфия? – спросил он спокойным голосом. – Я дам вам за него свое обручальное кольцо. Настоящее золото. Довоенное. Есть? – прибавил он, облизывая палец и пытаясь снять с него кольцо.

Она остановилась и для верности положила руку на фотоаппарат.

– У меня нет морфия. Но в начале Грюнерштрассе есть санитар. Может, у него есть. У него должен быть. Идите к нему. А я пока побуду с малышкой, – ответила она.

– Вы говорите о толстяке, который считает трупы? Я был у него уже сто раз! У этого могильщика ничегошеньки нет, даже йода. Он меня просто прогнал. Сукин сын. У него даже водки нет. Может, у вас есть водка? Я дам вам кольцо за бутылку водки. Напою ребенка и напьюсь сам. Нам будет не так больно...

– У меня нет водки. Но я знаю, где мама прятала водку у нас дома. Я живу на Грюнерштрассе, 18. Это рядом. Если найду водку, я вам ее принесу.

– Я вам отдам кольцо. Настоящее золото. Довоенное... – слышала она за спиной удаляющийся голос.

Она больше не считала кадры. Ей надоело. Здесь все что-нибудь считают. Одни – трупы, другие – пальцы. К тому же есть вещи, которые нельзя показывать. Ни в коем случае. Она спрятала аппарат в футляр, осторожно положила его в чемодан и торопливо вскарабкалась на груды мусора, чтобы поскорее попасть домой.

Первым свидетельством того, что дом уже рядом, была часть балконной решетки с виллы Цейсов. Она лежала на ветвях поваленной черешни в их саду. Этот балкон был ей прекрасно знаком. Три словно отрезанные ножницами обрубка спиралей колонн торчали из прямоугольной бетонной плиты как из цветочной корзины. Она и не предполагала, что когда-нибудь почувствует то, что почувствовала в этот момент. Что расплатится – от волнения – при виде обломков балкона Цейсов...

Анна обошла лежавшее на земле дерево. Ей навстречу попались два черных соседских кота. Они поедали внутренности мертвой овчарки Цейса. Невдалеке прохаживалась ворона, терпеливо ожидая своей очереди.

Взобравшись на вершину груды обломков, битых кирпичей и штукатурки, она огляделась. От дома на Грюнерштрассе, 18 осталась лишь одна стена, которая неровной линией обрывалась на уровне третьего этажа! Это была левая стена, если смотреть со стороны сада Цейсов. В той стене была дверь с оторванной много лет назад ручкой, через эту дверь можно было пройти со двора на лестницу и в подвал. Она быстро спустилась вниз. Обежала стену и остановилась на тротуаре со стороны улицы. Среди камней, жестяной кровли, металлических прутьев и битого бетона она заметила край толстой коричневой доски. И поспешила подойти ближе, потому что узнала дубовую столешницу серванта из комнаты бабушки Марты. Поставила чемодан, сняла пальто и, ухватившись за доску, изо всех сил потянула ее на себя. В этот момент она услышала хриплый голос, доносившийся откуда-то сзади:

– Я вам помогу. Дрова сейчас на вес золота. Вы совершенно правы. Особенно ночью. Будет холодно...

Она резко обернулась. В нескольких метрах от нее, опершись спиной о покосившийся столб уличного фонаря, стоял парень. Форменная шинель солдата вермахта, подпоясанная обрывком проволоки, была ему столь велика, что полы мели мостовую. Длинные темные волосы падали на лоб, перебинтованный окровавленной повязкой. С проволоки свисала армейская каска. А у его ног, на сером брезентовом рюкзаке, лежали скрипка и смычок.

– Чего ж тогда торчишь там? Помогай! – крикнула она сердито.

Парень моментально оказался рядом и всем телом навалился на доску.

– Слушай, давай сделаем так, – сказал он, – ты повиси на доске, а я попытаюсь ее вытащить. Ты тяжелее меня. Старайся раскачивать ее, как ты только что делала, – будто хочешь переломить надвое. Это поможет ее высвободить.

Она обиженно взглянула на него, задетая замечанием о весе.

– Я вовсе не тяжелее тебя, парень! И никогда не буду. Не умничай! Тоже мне, джентльмен! – воскликнула она, тайком поправляя свитер.

– Давай-ка вместе! Дружно!

Они упали почти одновременно. Она ударилась головой о тонкую корку льда на поверхности грязной лужи, образовавшейся в широкой борозде между двумя плоскими холмиками щебня. И тут же почувствовала удар каской, а в лицо ей плеснуло ледяной водой. Парень, не выпуская доску из рук, упал на смерзшуюся мусорную кучу рядом с лужей. Он в сердцах отшвырнул доску и подполз к ней. Встав на колени у ее головы, спросил:

– Все в порядке? С вами, то есть с тобой...

Достал из кармана шинели скатанный бинт и начал осторожно вытирать грязь с ее лица. Сказал с улыбкой:

– Не стоило, наверное, из-за этой доски...

Она резко приподнялась и оттолкнула его руку.

– Что? Что не стоило? – спросила она с вызовом в голосе.

– Ну, гимнастикой заниматься. Дрова из нее никудышные. Слишком твердые...

– Послушай, умник, – процедила она сквозь зубы, изо всех сил стараясь сдержать слезы, – эта доска – часть моего дома. Единственное, что я пока что нашла. Слышишь?! Моего дома! А в костер можешь бросить, если тебе так приспичило, свою скрипку.

Парень перестал улыбаться. Его лицо нахмурилось. Она видела, как у него задрожали ладони. Он встал и молча вернулся к фонарю. Поднял скрипку, забросил рюкзак на плечо и медленно побрел по завалам к деревьям на противоположной стороне улицы. Она смотрела, как он медленно исчезал из вида. И вдруг заплакала.

– Извини! – крикнула она ему в спину. – Я совсем не то хотела сказать. Я сама всегда хотела играть на скрипке. Но я не умею. Я даже не знаю, как тебя зовут! Вернись! Хоть на минутку! Я хочу тебя поблагодарить. А потом иди, куда тебе нужно. Пожалуйста! Я хочу поблагодарить. Позволь мне...

Через мгновение он уже исчез за очередной горой мусора.

Она подошла к доске и ногой придвинула ее к чемодану. Надела пальто. Бинтом, который оставил парень, перевязала себе руку. И уселась на чемодан спиной к тому месту, где еще два дня тому назад была широкая оживленная улица, а теперь зияла огромная яма, заполненная битым кирпичом вперемежку с землей. Перед ней возвышалась часть стены с дверью, которая вела на площадь, усыпанную камнями и кусками штукатурки. Неожиданно Анна почувствовала, что окоченела. Тщательно запахнув пальто, она закрыла глаза. И тут же заснула...

Она протягивала руку, пытаясь найти ладонь Лукаса. Ротенберг декламировал стихотворение Гёте, оба с отцом курили. Девушка в синем платье расчесывала волосы бабушке Марте и кормила ее черешней. Гиннер в сутане священника причащал мать и записывал что-то на листке бумаги. У Цейса на коленях сидел голый ребенок с повязкой на глазу. Маркус в огромной продырявленной

осколками каске стоял на коленях перед алтарем, прижимая к себе овчарку Цейсов. Санитар в запачканном кровью халате строил с ней на пляже замки из песка. Мать Лукаса в красной монашеской рясе вливала из огромной лейки бурю воду в кропильницу. Садовник Цейсов стоял на лестнице под сводами церкви и брил свою длинную бороду, глядя в зеркальце. Сама она в белом платье для первого причастия разгуливала по пахнущей лавандой лужайке и фотографировала бабочек. Одна бабочка неожиданно взлетела с лепестка белой розы. Анна явственно слышала звуки, производимые ее трепещущими крыльями. А бабочка летела в ее сторону и становилась все больше и больше. Раздался вой сирен. Она побежала. Протянула руку к Лукасу...

Кто-то теребил ее за плечо.

– Не нужно меня ни за что благодарить, – услышала она, – бери-ка лучше свои вещи. Они опять прилетели. Поблизости есть подвал. В этой пустыне уже и бомбить-то нечего, но все-таки лучше спрятаться куда-нибудь под землю...

Еще какое-то мгновение она провела в своем сне. Потом широко раскрыла глаза. Узнала.

– Ты вернулся, – прошептала она, прижимаясь к парню, – вернулся! Ты мне потом сыграешь?

Он улыбнулся. Нежно погладил ее по голове.

– Беги за мной. Это недалеко...

Она слышала, как нарастает гул самолетов, но то и дело останавливалась. Он вернулся за ней.

– Слушай, постой здесь минутку. Я заброшу в подвал рюкзак и скрипку и вернусь. Стой на месте. Никуда не уходи, слышишь? Подвал совсем близко. Тебе очень нужен этот чемодан? – осторожно спросил он.

– Нужен...

Он скрылся из виду, оставив ее одну. Самолеты приближались. Ей было страшно. Вскоре, тяжело дыша, он появился снова. Взял чемодан и протянул ей руку. Они бежали, пока не остановились у груды камней и веток рядом с дырой в основании какой-то серой стены. Сначала он зашвырнул в дыру чемодан, потом отодвинул ногой несколько камней. По длинному крутому каналу она, как на санках, съехала как будто в пещеру. Упала лицом на влажный песок. Торопливо встала. Почувствовала запах тухлятины и сырости. Осмотрелась. В глубокой темноте почти ничего не было видно. Словно читая ее мысли, он зажег спичку. Подошел к чему-то вроде подставки для свечей, скрученной из проволоки и наполненной землей, в которую были воткнуты свечи. Поднес пламя спички к одной свече, зажег остальные. Сделалось светло. Под сводами напротив она увидела пирамиду из человеческих черепов. Конусообразная конструкция с левой стороны упиралась в гробы, которые стояли двумя рядами, один на другом. Ближе к ней был еще один гроб, с открытой крышкой. Из него торчали пучки соломы.

– Добро пожаловать домой, – сказал с иронией в голосе парень. – Прости, я сегодня не ждал гостей, поэтому здесь не прибрано, – добавил он и, подойдя к открытому гробу, с шумом захлопнул крышку.

В этот момент на улице вновь стали взрываться бомбы. Она закрыла глаза и вытянула перед собой руки, будто пытаясь что-то найти на ощупь. Он прижал ее к себе, но сначала задул свечи на проволочной подставке. Потом снял шинель и постелил на земле.

– Приляг, – шепнул он ей на ухо, – мне нужно закрыть вход. Я сейчас вернусь, я быстро...

Налет был коротким. Впрочем, ей казалось, что все происходит где-то далеко отсюда. Как глухие отголоски соседской ссоры, доносящиеся сквозь толстую стену. Вскоре все стихло.

– Кто такой Лукас? Твой парень? – спросил он.

Они лежали в темноте. Как только на улице наступила тишина, он разжал объятия и отодвинулся от нее подальше.

– Что ты имеешь в виду?

– Ну, я хотел спросить, это кто-то близкий? Это к нему ты... прикасаешься? Вспомни ты звала его.

– Да, к нему я прикасаюсь, в последнее время только к нему...

– Ты его любишь?

– Люблю? – Она задумалась на мгновение, озадаченная вопросом. – Не знаю. Но я скучаю по нему.

– Он жив?

– Вчера еще был жив...

Он не ответил. Встал и зажег свечу, стоявшую на одном из черепов. Подошел к гробу, открыл его, вытащил коричневую бутылку и поднес к губам.

– Как ты думаешь, они нас ненавидят? – спросил он, вновь укладываясь рядом.

– Кто?

– Ну, американцы и англичане.

– Те, которые в самолетах?

– Да, те, которые в самолетах.

– Я думаю, что, скорее всего, не лично тебя и меня. Они ненавидят немцев...

– Но мы ведь тоже немцы.

– Да, это так, но они, как им, наверное, кажется, бомбят Германию, а не немцев. Они не думают о том, что при этом убивают людей. Им хочется разнести в пух и прах Германию. Отец рассказывал мне, что во время Первой мировой войны вражеские окопы порой были расположены так близко, что солдаты могли

посмотреть друг другу в глаза. Иногда они переговаривались и даже делились провиантом. А как только получали приказ, начинали стрелять и убивать друг друга. Вовсе не из ненависти. Скорее для самообороны. Потому что соседи из противоположного окопа получали такой же приказ...

– А как ты думаешь, есть ли какой-нибудь другой народ, который мир ненавидит больше, чем немцев?

– Сегодня?! Конечно нет. Мы уверенно возглавляем список народов, подлежащих уничтожению. После нас длинный пробел, а потом, мне кажется, идут японцы. Нам удалось восстановить против себя весь мир. Думаю, когда мы наконец проиграем эту войну, такое отношение к нам сохранится еще лет на сто. Поэтому я жалею, что у меня такая чертовски немецкая фамилия. Но все равно никогда ее не поменяю. Из-за бабушки и отца. А почему ты не стреляешь? Тебе ведь положено... – спросила она, помолчав.

– Это очень простая история, – ответил он, утирая рукавом губы, – выпей.

– Расскажи... – попросила она, принимая бутылку.

– В сорок первом я окончил консерваторию в Бреслау. Когда-то это был большой, красивый город. Я там родился, там могилы моих родителей и сестры, – начал он свой рассказ, ложась на шинель рядом с ней. – Ты знаешь, где это? – спросил он.

– Конечно знаю! Моя бабушка родилась в тех краях, в Ополе, а дедушка изучал в Бреслау медицину, – ответила она. – У бабушки в альбоме есть много красивых фотографий Бреслау. То есть было, – добавила она после паузы. – Извини, я перебила тебя. И что было потом? – спросила она сдавленным голосом.

Он заметил, что она плачет. Замолчал. Наклонился над ней и осторожно отвел в сторону волосы со лба. У него были теплые руки. Стоя на коленях возле ее головы, он убирал со лба пряди ее волос, иногда случайно прикасаясь к щекам. Кончиками пальцев он нежно гладил ее лицо, вокруг глаз и губ. Когда она перестала плакать, он прошептал:

– Послушай, я прошу тебя, не извиняйся передо мной. Не надо больше ни за что извиняться. Я еще там все понял. Когда мы с доской возились. Я действительно все это понимаю. Мне тоже хотелось иметь хоть какой-то угол. Свой. Пусть даже

самый маленький. Но у меня его нет. Может быть, когда-нибудь я построю собственный дом. Новый. И ты тоже построишь. Вот увидишь... Тебе лучше?

Она кивнула.

– Ну, а теперь скажи мне наконец, как тебя зовут? – спросил он, отводя ладони от ее лица.

– Меня зовут Анна, – сказала она и добавила поспешно: – Но я хочу, чтобы ты называл меня Мартой. Когда-нибудь я объясню тебе, почему. А теперь рассказывай. И не убирай ладони. Если можешь. И если хочешь...

Она придвинулась и положила голову ему на колени. Он осторожно гладил кончиками пальцев ее лицо. Она слушала.

– Студентом я давал уроки музыки, чтобы подработать. Среди моих учеников была дочь заместителя гауляйтера Бреслау. Вот уж у кого не было ни слуха, ни таланта! Но она была очень старательная, и ей нужно было научиться играть на пианино. Так хотел ее отец, еще больше – мать, а больше всех – бабушка, мать заместителя гаулейтера. У девочки никто не спрашивал, хочет ли этого она сама, а она боялась сказать, что не хочет. Я тоже ничего не говорил, потому что мне очень нужны были эти деньги. В конце сорок второго в армию стали призывать и слепых, и сумасшедших, и даже людей искусства. Призвали и меня. В один прекрасный день, закончив урок, я попрощался сначала со своей ученицей, а потом и с ее отцом. Мне повезло. В гостиной сидела мать заместителя гаулейтера. «Макс, я надеюсь, моя внучка, а твоя первородная и единственная дочь не забросит музыку и не перестанет развиваться только из-за того, что какой-то невежественный бюрократ, какой-то идиот решил отправить ее учителя на фронт, – сказала она, обращаясь к сыну. А потом добавила: – Не забивайте себе этим голову, мой сын все устроит. Приходите к нам в пятницу, в это же самое время». И я пришел в пятницу, потому что мои документы, как по мановению волшебной палочки, исчезли. Я получил новый номер и новые документы с припиской о переводе на «нестроевую вспомогательную службу по формальным причинам» за личной подписью заместителя гаулейтера, заверенной еще четырьмя подписями. Я все время носил эти бумаги с собой. Они и сейчас при мне. В течение двух лет я приходил в дом гаулейтера каждую среду и пятницу, при каждом удобном случае рассыпаясь в благодарностях его матери. В сорок третьем, в рождественский сочельник, дочь заместителя гаулейтера впервые исполнила фортепианный

концерт для всей семьи. Я никогда не слышал ничего ужаснее. Но они были на седьмом небе от счастья и гордости, а бабушка даже расплакалась от умиления. Только их служанка-полячка посмотрела на меня как-то странно и покачала головой. Заместитель гаулейтера в тот вечер впервые пригласил меня к себе в кабинет, угостил французским коньяком и вручил конверт с деньгами. Потом, после каждого урока, я шел с ним в кабинет, и мы надирались коньяком или его любимой сливовицей. Это был несчастный человек. Очень одинокий. Еще более одинокий, чем я. А потом русские подошли к Бреслау. Когда уже запахло жареным, я вместе со всеми, кто мог убежать, унес ноги на запад. И так попал в Дрезден. Во-первых, он рядом с Бреслау, а во-вторых, я всегда хотел здесь поселиться. Из-за музеев, из-за здешнего оркестра и из-за того, что Дрезден рядом с Бреслау. Как видишь, моя мечта сбылась. Теперь я живу здесь. В этом уютном склепе. Жаль только, музеев уже нет, а оркестранты разбежались или поумирали. Но кладбища Бреслау так и остались неподалеку...

Он умолк.

– Я утомил тебя своими разговорами? Спишь? – спросил он, осторожно трогая ее за плечо. – Передай мне, пожалуйста, бутылку. У меня в горле пересохло от разговоров.

Она повернулась к нему лицом. Молча запустила пальцы в его волосы.

– Я так рада, что встретила тебя, – прошептала она и легко коснулась губами его щеки.

Потом поднесла бутылку к губам и жадно отхлебнула. Поперхнулась. Закашлялась, разбрызгивая жидкость по его лицу и волосам и хватая ртом воздух.

– Боже мой, что такое ты мне дал?! – закричала она.

– Настоящую югославскую сливовицу. Я хранил эту бутылку для особого случая. Мне показалось, сегодня как раз такой случай, и я хотел...

– Хоть бы предупредил меня. Я думала, что это... вода, – прервала она его на полуслове. – Я еще никогда не пила водку...

– Как же ты жила в этом аду без водки? – невесело усмехнулся он.

Широко раскрыв рот, она пыталась отдышаться. Жжение постепенно проходило. Она успокоилась. Он исчез за стеной из гробов, а вскоре вернулся и протянул ей металлическую кружку с водой. Вода воняла бензином.

– Я держу воду в канистрах из-под бензина. Да ты не бойся, это чистая вода. Прополощи рот...

– У тебя здесь все есть, – улыбнулась она. – Сколько ты уже живешь тут?

– Восемь месяцев. Перезнакомился со всеми черепами. Самым любимым дал имена...

– У тебя еще осталась водка? И какая-нибудь бутылка? – вдруг спросила она.

– Почему ты спрашиваешь?

– На Зайдницерштрассе я встретила маленькую девочку. У нее оторвало пальцы на руке. Ее дедушка просил у меня...

– Дедушка с обручальным кольцом из довоенного золота? – перебил он.

– Да. Откуда ты знаешь?! – воскликнула она удивленно.

– Я вчера отнес ему и бинт, и водку. Он дал мне за них обручальное кольцо. Действительно довоенное. Из довоенной ржавой железки. Через час я вернулся к нему с сухарями. С целой порцией отличных, твердых, как сталь, сухарей. Это был мой ужин. Дедушка уже был вдребезги пьян. А девочка сидела рядом и тряслась от холода. У нее не хватает пальцев с рождения. Какое-то врожденное уродство. Она говорит все, что велит дедушка. И это не врожденное. Благоприобретенная реакция на страх. Дед просто избивает ее, если она не сообщает первому встречному о своих семи пальцах. Она сама мне это сказала. К тому же пальцев у нее восемь. Это дедушка велел ей говорить, что их у нее только семь. Этот сукин сын морфинист и алкоголик...

Она потрясенно слушала его. Он мог быть одновременно и тонким, и до цинизма рассудочным. Она же была наивна и неисправимо чувствительна. Когда в Дрезден в течение нескольких недель бесконечной толпой шли беженцы с востока, она ходила по улицам и раздавала им все, что только могла найти в своем подвале. Потом, когда подвал опустел, она стала выходить в город только тогда, когда это было действительно необходимо. И каждый раз, когда ей встречался нищий, которого она ничем не могла одарить, ее мучила совесть. Ей и в голову не приходило, что попрошайка может быть мошенником.

Она чувствовала себя странно. Выпитое подействовало. Ей стало легче, пришли умиротворение и неведомая прежде истома. Улегшись на шинель спиной к парню, она поджала ноги и закрыла глаза. А он нежно гладил ее по волосам. Давно она не чувствовала себя так покойно. Именно покойно. Еще несколько дней тому назад она не смогла бы назвать это состояние таким словом. Без страха, без мыслей о том, что произойдет через пятнадцать минут, без воспоминаний о прошлом и, самое главное, без страха перед будущим.

Он осторожно прикасался к ее голове и рассказывал.

О том, как ему не хватает книг, о том, что война когда-нибудь закончится, что его сестра была похожа на нее – такая же красивая, и что ему хотелось бы когда-нибудь поехать к морю, а еще о том, что он давно не видел таких глаз, как у нее, и что если бы не музыка, то все давно потеряло бы для него смысл. Что когда умирал от страха в этой могиле, он брал скрипку, гасил свечи и играл в темноте. И тогда все переставало существовать, а взрывы бомб становились похожи на аккомпанемент каких-то огромных, жутко звучащих колдовских бубнов, который лучше всего подходит для музыки Шопена, Шумана, Бетховена или Малера. Но ни в коем случае не для Вивальди и Моцарта. И что, когда бомбежка прекращалась, а он продолжал играть, ему даже не хватало этого аккомпанемента. И что все это, каждый отдельно взятый звук, он прекрасно запомнил и когда-нибудь, когда эта проклятая война наконец закончится, воспроизведет по памяти, переложит на ноты и создаст такую симфонию, что охваченным паникой людям захочется убежать из концертного зала в бомбоубежище. И эту симфонию будут исполнять каждый день, везде, где только можно, чтобы никто никогда не забыл...

Он кончиками пальцев массировал ей шею и рассказывал.

О том, что у них украли молодость, отняли право быть беззаботными и совершать ошибки, лишили наивного юношеского энтузиазма и восхищения миром. Им приказали ненавидеть одних и безусловно поклоняться другим, им следовало и взрослеть по приказу, и по приказу же убивать. А если понадобится, то и самим с честью погибнуть, поскольку «нет большего счастья, чем принести себя в жертву народу и государству». Им рассказывали сходу придуманные легенды об «окопном единении, в котором дружба и братство преодолевают любые социальные различия». Многие из его друзей в это действительно верили, а может, верят и по сей день.

Молодость им уже никто не вернет, потому что, даже если через пять минут война каким-то необъяснимым, мистическим образом закончится, он, несмотря на свои двадцать восемь и неплохую физическую форму, будет психически немощным, дряхлым стариком, который все в жизни повидал и испытал. И то, что за последние годы ему довелось увидеть, не оставляет ему надежд. Более всего именно это, то, что у них украли надежду. Хотя на самом деле они еще легко отделались. У других отняли даже детство.

Он прижимался к ней и рассказывал.

О том, что хотел бы не смыкать глаз от волнения ночью перед первым свиданием, принести ей букетик фиалок, пойти вместе на прогулку в парк, прикоснуться – совершенно случайно – к ее руке в темном зале кинотеатра, захотеть поцеловать ее, когда будет провожать домой, смириться с тем, что она ему этого пока еще не позволила, а потом радоваться этому и скучать по ней – уже через пять минут после того, как она исчезнет за дверью своего дома. И с нетерпением ждать завтрашнего дня, писать ей любовные письма и чудесные глупые стихи. Ведь право на любовь у них тоже украли. Не говоря уже о том, что «завтра» им никто не гарантирует. Поэтому нужно жить сегодня и сейчас, в эту минуту, здесь.

Он целовал ее глаза, щеки и рассказывал.

О том, что ему хочется сейчас, в это мгновение, раздеть ее, и что желание это в нем очень сильно. Раздеть донага. Что, хотя в это трудно поверить, он никогда еще не видел, кроме как в мечтах и на дурацких фотографиях, голую женщину. А еще ему хочется прикоснуться к ней. И запомнить все, что при этом случится. И если она ему это позволит, как только закончится война, он обо всем забудет, повернет время вспять, будет добиваться ее, не сможет заснуть перед их

первым свиданием, принесет ей цветы, а вместо стихотворения напишет для нее сонату. И она не разрешит ему вечером, у дверей своего дома, поцеловать себя, а он, несмотря на это или именно поэтому, будет радоваться каждому следующему дню. И сделает все, чтобы ее соблазнить. Потому что ему очень хочется ее соблазнить. Честно говоря, ему больше всего хочется сделать это прямо сейчас. Он говорил еще о том, что ему хочется целовать ее груди, спину, бедра, живот и ягодички и что он осмеливается просить ее – в этой совершенно исключительной ситуации – позволить ему повернуть ход истории вспять.

Он раздел ее и уже больше ничего не рассказывал.

Это она рассказывала. Своими мыслями, своим молчанием. Сама себе объясняла, что сейчас происходит. Что она – хотя наверняка нужно было бы – абсолютно, нисколько не стыдится, что, может быть, это отчасти из-за водки, но, скорее всего, все-таки из-за его слов и этого неодолимого чувства «здесь, сейчас, пока не наступило завтра, пока мы еще живы», что это не должно было происходить так, что этот ее первый раз, даже если должен был случиться, то уж никак не здесь, рядом с гробами и черепами, в присутствии смерти. О том, что в любом случае нет и не может быть другого места, потому что смерть повсюду. Потому что, кроме всего прочего, у них отняли и право выбрать место и время. И что теперь, в этот момент, ей очень хорошо, когда он прикасается губами и выдыхает теплый воздух в ямочку на ее теле между спиной и ягодичками, что ей хотелось бы, чтобы он еще сильнее кусал ее губы, до крови. О том, что она не понимает, почему он предпочитает целовать ее правую грудь, а ей хочется, чтобы он целовал левую. О том, что когда она ощутила его губы и язык у себя между бедер, ей захотелось смеяться, потому что его волосы щекотали ей низ живота. А еще о том, что она не представляет, как это непривычное нечто, которое сейчас с трудом помещается у нее во рту, может уместиться в ней. В какой-то момент она перестала рассказывать и застыла в напряжении и страхе, закрыв глаза, широко разведя в стороны бедра и крепко стиснув зубы. И тут же почувствовала на лице прикосновение его пальцев. Он укутал ее свитером и прошептал ее имя.

Он целовал ей ладони и рассказывал.

О том, что у нее прелестная родинка на левой ягодичке и что мысль о том, чтобы повернуть время вспять, – это глупое мальчишество и наглость. Такое бывает только в сказках. И что, хотя он очень любит сказки, все равно никогда в них не верил. И что хотел бы встретить ее когда-нибудь после войны – когда мир

придет в себя, а ее будут окружать другие мужчины. И тогда, несмотря на их присутствие, вернее, именно в их присутствии, не упустить свой шанс. Или узнать, что у него нет никаких шансов.

Она дрожала. Не помнила точно, от страха, от холода или от возбуждения. Он одел ее. Опираясь на локти, она растроганно смотрела, как старательно он завязывал ей шнурки на ботинках. В последний раз это делал отец, когда они впервые поехали кататься на лыжах в Австрию. Он тоже завязывал ей шнурки двойным бантиком.

– Что случилось с твоими родителями? – спросила она шепотом.

Он справился с ее ботинками, поднял голову и, глядя ей в глаза, сказал:

– Мама сошла с ума после несчастья с сестрой, а папа не выдержал всего этого и вскрыл себе вены. Мама умерла сама. От голода. Однажды она просто перестала есть...

Он подошел к одному из гробов, снял с него череп со свечами, торчавшими из глазниц, поднял крышку и вытащил длинный рваный тулуп. Укутал ее, придвинул ее чемодан к шинели, на которой она лежала, поставил на него череп со свечами и, улыбаясь, сказал:

– По вечерам здесь бывает так же холодно, как под Сталинградом. Ты тут поваляйся на солнышке – да что я говорю, на двух солнышках, – а я приготовлю нам ужин. У нас есть сухари на закуску, сухари в качестве главного блюда и роскошный десерт из сухарей. Из напитков имеется отличная югославская сливовица в бутылке из-под лимонада и родниковая вода из канистры. У нас нет рюмок, нет фарфора и скатерти тоже нет, но зато все будет романтично, при свечах.

Она рассмеялась. Искренне, от души. Он исчез где-то в закоулках склепа, а она вглядывалась в огонь свечей. Точно таких же, как в тот вечер, когда она была с родителями на море...

Один из отпусков они провели втроем на Сильте. Незадолго до войны. Отец уверял, что Сильт, маленький остров странной формы, – это немецкая ярмарка тщеславия и что такие места необходимо повидать. Но только раз в жизни, чтобы никогда больше не захотелось туда вернуться. Денег на гостиницу у них не было. Ночевали в палатке, на завтрак покупали булочки у пекаря, а перед закатом варили суп с мясом или колбасой на огне спиртовки. Иногда по вечерам они прогуливались по аллеям, вдоль которых стояли роскошные гостиницы. Ярко освещенные холлы были полны мужчин в строгих костюмах и полуобнаженных женщин в вечерних платьях. Станный, искусственный, как украшения этих женщин, мир, который был для них недоступен. Отец презирал этот мир. Не из зависти и не потому, что был беден и не мог стать его частью, а главным образом оттого, что в последнее время все в Германии стремились этому миру принадлежать. Вечерний Сильт с его блестящими отелями и их лощеными постояльцами был своего рода резервацией для немецкой элиты. Коричневой, гитлеровской, аристократической, купечески богатой и по определению всецело преданной власти. Со всеми этими графинями, дорогими проститутками, желавшими стать графинями, с офицерами, которые воображали, что своими регалиями они возбуждают и тех и других, с торговцами из Берлина, Мюнхена, Дрездена, Кельна или Нюрнберга, которым казалось, что, выпив пару коктейлей в изысканном обществе в холле гостиницы на острове Сильт, они обзаводятся новыми связями и получают пропуск в высшее общество. Сильт потерял свое доброе имя, а то, что происходило в холлах и спальнях его отелей, было любимой темой бульварной прессы, контролируемой Геббельсом. Поэтому на Сильте следовало побывать хоть раз. Чтобы все это увидеть собственными глазами. И возненавидеть раз и навсегда.

Однажды, после прогулки, они вернулись на пляж. Уселись на берегу моря, и отец сделал огромный торт из песка. Положил на него сверху пятнадцать ракушек, а в каждую вставил зажженную свечу. Потом обнял дочь и прошептал ей на ухо, что она самое большое его сокровище и что, благодаря ей и маме, которая ее ему подарила, он прожил самые важные и самые прекрасные пятнадцать лет своей жизни. Он просил простить его за то, что этот торт всего лишь из песка. Затем подал знак маме, и она поставила перед дочерью большой пакет, перевязанный лентой. Родители смотрели, как нетерпеливо она разрывает бумагу. Она радостно вскрикнула. Отец сказал:

– Я надеюсь, что этот фотоаппарат сможет увидеть мир твоими глазами...

Потом, на этом пляже, она сидела между матерью и отцом, вглядывалась в пламя свечи и изо всех сил старалась не расплакаться.

– Почему ты плачешь? И к тому же без меня? – вдруг услышала она его голос. – Я бы тоже поплакал...

Она поспешно вытерла слезы.

– Я не плачу. Просто глаза слезятся. Меня эти два солнца просто... ослепили. Почему тебя так долго не было? – спросила она, стараясь скрыть замешательство. – Я теперь плачу, только когда тебя слишком долго нет.

– Я готовил еду, – ответил он, поставив перед ней поцарапанную от постоянного использования алюминиевую тарелку раскрошившихся сухарей. По обе стороны от нее он положил две салфетки, неумело вырезанные из марли.

– Передай мне, пожалуйста, бутылку с водкой, – попросила она. – Мне очень хочется перестать плакать. Очень. А ты мне не даешь. Моя бабушка Марта, когда у нас закончились сначала обычные салфетки, а потом белая туалетная бумага, вырезала их из своих писем дедушке. А вот из марли не додумалась. Откуда ты, парень, взялся? Ну откуда? Почему ты такой хороший? – допытывалась она, выбираясь из тулупа. Подползла к нему на коленях и начала разматывать бинты у него на голове.

Стоя перед ним, она медленно сворачивала серый, заскорузлый от засохшей крови бинт. Он смотрел ей в глаза и улыбался. Временами закусывал губы, когда она осторожно отделяла присохшую марлю от кожи. Правую сторону лба, от брови до волос, пересекали крест-накрест две кровоточащие раны. Она взяла обе салфетки, смочила их в кружке с водой и начала осторожно обмывать раны. Закончив, поцеловала в лоб и прижалась к нему.

– А теперь налей мне водки, пожалуйста... – прошептала ему на ухо.

Закрыла глаза и выпила несколько глотков. Потом отдала ему бутылку и уселась у тарелки с сухарями. Он подошел к проволочной подставке и зажег все свечи. Они сидели лицом к лицу и грызли сухари, притворяясь, будто наслаждаются

великолепным ужином. Он вытягивался перед ней, как официант, с изысканным поклоном подливал ей воду в металлическую кружку, а она капризничала, мол, это вино ей не по вкусу. Тогда он доставал коричневую бутылку и добавлял несколько капель сливовицы в воду, а она поднимала кружку к носу и восхищалась изысканным букетом. Потом они смаковали десерт, любуясь в колеблющемся свете «утонченной красотой немецкого сухаря».

Она сладострастно облизывала языком губы, строила ему глазки, игривым жестом отбрасывала волосы со лба, притворялась, будто кокетливо наносит на губы красную помаду и напоминала ему, что уже пора, ожидая, чтобы он, якобы ненароком, наклонился за словно случайно упавшей салфеткой. И, поднимая, невзначай коснулся ладонью ее колена под столом. После его прикосновения, она, поднося ко рту клубнику или малину, на мгновение покраснеет и сбросит туфлю с ноги. И под надежно прикрытым белой скатертью столом дотянется ногой до его ширилки. А он будет невозмутимо озираться по сторонам, поправляя на себе бабочку или галстук, а может, расстегивая пуговицы пиджака или смокинга. А потом, онемев и захмелев от того, что происходит, он наклонится к ней так низко, как только можно, и начнет нежно массировать ладонями ее ногу. Предварительно разорвав и стянув с нее чулок. А она, чтобы отвлечь внимание окружающих, протянет руку – со скучающей миной на вспыхнувшем лице – за очередной клубникой или кусочком шарлотки, аккуратно положит на блюдце, сдобрив взбитыми сливками, и с самым невинным и доброжелательным видом, на какой только способна, улыбнется пожилой даме в ужасном парике и с тонной золота на шее. А затем, удобно опершись о плюшевую обивку стула, с притворным смущением и непосредственностью, свойственной молодости, намеренно не вытрет следы белых сливок со своих губ и снова поднимет под столом ногу, чтобы опять положить свою голую ступню ему между ног.

– Марта, какие книги ты читала? – спросил он с улыбкой, поглаживая ее ногу.

– В основном классику, больше всего мне нравится русская, и я уверена, что читала ее куда внимательнее, чем ты. Женщины читают в основном между строк, – ответила она. – Мужчины так не умеют.

А потом вдруг попросила, чтобы он что-нибудь сыграл.

– После десерта, но до того, как нам подадут сырное блюдо с виноградом, – добавила она с улыбкой.

Он молча встал. Медленно подошел к чему-то, напоминавшему небольшой алтарь. На осколке мраморной надгробной плиты, опиравшейся на две деревянные колоды, лежали скрипка и смычок. Он взял их и начал играть. Она видела только его силуэт. В темноте невозможно было различить его лицо – лишь движения руки, когда он вместе со скрипкой резко наклонялся вперед и на мгновение становился видимым в мерцании свечей. Она подошла к подсвечнику. Села на землю. Ей хотелось, чтобы он видел ее. Он должен был ее видеть! Должен был явственно видеть, что с ней сейчас происходит! Кусая пальцы, она вглядывалась туда, где он стоял, и слушала. И это было самым главным. Словно в каком-то странном сне, здесь, в склепе, в подzemелье несуществующего Дрездена, он играл для нее скрипичный концерт. Сейчас это было важнее всего. Только это. Эта музыка, это упоение и волнение, которое она испытывала. У них можно забрать молодость, украсть свободу, можно приказать им повзрослеть раньше срока и по приказу же умереть, но самое главное – переживания – у них никому не отнять. Потому что никто, к счастью, не знает, где и по какой причине самое главное должно случиться. А сейчас как раз оно и случилось.

Не прекращая играть, он медленно приблизился к ней. Она узнала один из венских вальсов Штрауса. Встала. Обняла его, а потом они закружились в танце. Свечной воск падал на волосы. Он продолжал играть. Они танцевали, прижавшись друг к другу, и ей казалось, будто она присутствует на своем первом балу. Все кружилось перед нею. И черепа, и гробы, и пламя свечей, и его лицо, и скрипка. Когда вдруг наступила тишина и капли пота, выступившие у него на лбу, смешались у них на губах с ее слезами, она поклонилась ему и осмотрелась вокруг, словно высматривая лица своих родителей и бабушки...

– Все будет хорошо, – прошептал он, – все будет хорошо, вот увидишь...

Подал ей руку и подвел к шинели. Склонившись, поцеловал ее ладонь.

Она улеглась. Он накрыл ее тулупом, вернулся к люстре и задул свечи. Прежде чем лечь рядом тщательно укутал тулупом ее ступни. Она расстегнула лифчик, взяла его ладони в свои и засунула их себе под свитер. Через минуту они заснули...

Дрезден, Германия, утро, пятница, 16 февраля 1945 года

Она почувствовала прикосновение на своей щеке. Открыла глаза.

– У тебя на лице следы прошедшей ночи, – сказал он с улыбкой. – Я хотел снять кусочки воска с твоей кожи. Разбудил? Извини.

– Да. Разбудил. И почему-то не поцелуем, – ответила она. – Дай, пожалуйста, воды. Кажется, у меня похмелье. – Она лениво потянулась. – К слову сказать, после нашей последней ночи у меня остались и другие следы. Если бы ты дал мне сейчас сигарету, было бы чудесно...

– У меня нет сигарет. Я не курю с того самого момента, как началась война. Не хотел еще и от этого зависеть. Хватит того, что пью. И потом, у нас нет на завтрак булочек. Пекарня на углу сегодня оказалась закрыта. Главным образом потому, что угла уже нет...

Она улыбнулась. Ей очень нравилась его ирония. Она тоже пыталась стать ироничной. Но не ради позы. Ей нравилась ирония, которая подчеркивает, что все не так, как должно быть. Его ирония была совершенной. Одним предложением, а иногда и одним словом, он мог рассказать историю, на которую Гиннер, например, потратил бы минут пятнадцать. Что нравилось ей в мужчинах? Интеллигентность, ум, смелость, умение слушать, красивые руки и еще – ей самой это казалось странным – красивые ягодицы. Ирония и сарказм долгое время в этот перечень не входили. Но с тех пор, как мир вокруг нее ожесточился, обезумел, запаршивел, нравственно опустился, а подлость и презрение к окружающим бурным потоком полились из него, как из сточной канавы, как наступила последняя, самая страшная стадия агонии, покрывшая мир коричневым, смрадным нацистским дерьмом и, как она выражалась, «гитлеризировавшая» его, – тогда сарказм стал прекрасным, во всяком случае для нее, способом образно и зло выразить свой протест против абсурда, лицемерия, безнадежности и бессмысленности происходящего. Он мог быть замечательно саркастичен, и у него были замечательные руки.

– Плохо ты старался. Можно было прогуляться за угол, на соседнюю улицу, – заметила она, делая вид, что разочарована.

– Ты не поверишь, но я прогулялся. Просто сейчас в Дрездене нет улиц, Марта. И углов тоже нет...

– А что вообще есть? – спросила она, поднимая голову и с беспокойством вглядываясь в его глаза.

– Что есть? – Он замолчал, почесывая пальцем нос, как делал ее отец, когда о чем-то глубоко задумывался. – Не знаю, как это правильно назвать. Ты выгребала когда-нибудь совком пепел из печки?

– Очень часто. На Грюнерштрассе у нас были только изразцовые печи.

– Ты помнишь, как выглядела при этом топка? А то, что ты высыпала в ведро? Помнишь, как в пепле иногда попадались тлеющие кусочки угля?

– Помню. А что?

– Именно так выглядит сейчас Дрезден. Разница лишь в том, что здесь гораздо холоднее, а поверх пепла выпал снег.

– Хм, и к тому же в пекарне не было булочек, – произнесла она, протягивая ему руку. – Нам действительно не везет...

Он помог ей встать. Она взяла с тарелки крошки и отправила в рот – бабушка Марта всегда повторяла, что из дома нельзя выходить натошак. Потом она надела плащ и встала рядом с ним.

– У тебя есть какие-нибудь планы на сегодня? – спросил он.

– Я хотела бы найти свою мать, – ответила она.

– А откуда мы могли бы начать поиски? – спросил он удивленно, повернулся к ней спиной и пошел к выходу из склепа.

– В морге. Где-нибудь рядом с Анненкирхе... – ответила она, пытаясь сохранять хладнокровие.

Он подбежал к ней, схватил за плечи и встряхнул. Она почувствовала его дыхание и брызги слюны на щеках.

– Не говори со мной так! – выкрикнул он. – Слышишь?! Никогда больше не говори со мной так! Можешь при мне предаваться отчаянию. Слышишь?! Можешь при мне плакать и страдать. Почему ты считаешь, что я этого не пойму?!

Она смотрела ему в глаза, не зная, что ответить.

– У тебя своя боль, а у меня своя, – прошептала она, пораженная его реакцией. – Я не хотела... Мне казалось, я не имею права, я сказала просто так... неважно. Я знаю, со вчерашней ночи точно знаю, что ты понял бы все, но я не хотела, чтобы все получилось так, как тогда, с той доской, я не хотела опять...

Он обнял ее и поцеловал в волосы.

– Я не знаю, как долго мы будем вместе, но когда в следующий раз тебе что-нибудь покажется, просто представь себе, что ты ошибаешься. И спроси меня, что я об этом думаю. Некоторые мужчины, в виде исключения, тоже иногда думают. Хорошо?

– Трудно в это поверить, – ответила она, облизывая языком его ухо, – но для тебя, исключительный мужчина, я сделаю исключительное исключение. Ведь ты простишь меня? А когда простишь, сделаешь для меня кое-что?

– Сделаю...

– Ты возьмешь свою скрипку и встанешь поближе к свечкам. Как вчера ночью. И сыграешь предпоследний фрагмент. Тот, что был до Штрауса. Когда у меня мурашки бегали по телу.

– Ты не узнала, что это? – спросил он оживленно. – Это Мендельсон-Бартольди, скрипичный концерт ми-минор, опус 64. Это тема моего диплома в Бреслау. Тогда еще можно было им заниматься, но уже нельзя было исполнять его музыку. Во всяком случае, публично. За еврейское происхождение коричневые вычеркнули его из списка немецких композиторов и дискредитировали как человека. В 1934-м, на концерте для молодежи в каком-то городке под Берлином, дирижер местного оркестра исполнил мендельсоновский «Сон в летнюю ночь», и его на следующий же день уволили. Обвинили в преступном намерении «отравить чистые души немецкой молодежи». А когда английский

оркестр, посетивший Лейпциг в 1936-м, выразил желание возложить цветы к памятнику Мендельсону, этот памятник чудесным образом исчез накануне ночью. Хотя Мендельсон был евреем только наполовину, по отцу.

– Послушай меня внимательно, – шептала она ему на ухо, поглаживая по голове, – не умничай, я понятия не имею о том, что такое ми-минор, и мне плевать на какой-то опус. Мендельсон, если это и правда он, ассоциируется у меня исключительно со свадьбой. И это все. То есть почти все. Вчера, когда ты играл его музыку, я впала в нирвану, побывала на небесах и увидела там прекрасные картины. На одной из них был ты. Здесь, в нашем доме, то есть в твоём склепе. Ты был на небе и играл там свой ми-минор с опусом, а из глазниц черепов текли слезы. Такое человек может увидеть только раз в жизни. Но я хочу это повторить...

– Что повторить?

– Как что?! Эту картину. Это мгновение...

– О чем ты говоришь?

– Ты сыграешь это сейчас, еще раз? Встань туда, где стоял вчера!

– Марта, что ты имеешь в виду? – не понял он.

– Так ты сыграешь или нет?! – крикнула она.

– Ну, хорошо. Сыграю. Я могу играть это бесконечно. Но почему именно сейчас?

– Не спрашивай меня, встань туда, туда, где стоял вчера, и играй. Там сейчас прекрасное освещение. Такие замечательные, насыщенные полутона. Если бы у меня была сигарета, я добавила бы к ним тонкие струйки дыма. Боже, как мне хочется курить!..

Он так и не понял, что она имеет в виду, но не стал расспрашивать. Послушно взял скрипку и начал играть. Она опрометью кинулась к чемодану и вытащила фотоаппарат. Встала за один из гробов, установила камеру на крышку, настроила диафрагму. Ей не хотелось держать аппарат в руках, потому что

тогда потребовалось бы большее время выдержки. Она слушала. Сегодня она не чувствовала торжественного упоения. Сейчас это была просто музыка. Прекрасная, необыкновенная, но уже без того волшебства, что несколько часов назад. Ночью музыка звучала совсем иначе. Она вспомнила его слова. Нужно жить здесь, сейчас, в эту минуту. Каждое мгновение неповторимо. Вот и она задерживает мгновения. Она нажала на кнопку. Еще три кадра...

Он закончил играть. Отложил скрипку в сторону и заботливо прикрыл куском картона. Она спрятала фотоаппарат в чемодан.

– Насыщенные полутона, конечно. Теперь я понял. Ты покажешь мне когда-нибудь свои фотографии? – спросил он. – Я очень хочу посмотреть на мир твоими глазами.

– Посмотришь. Я обещаю. А теперь пойдем отсюда...

Они подошли к пробоине в стене, что служила входом. Он заполз в узкий лаз и стал карабкаться вверх. Она внимательно наблюдала за тем, как он это делает. Оказавшись на поверхности, он сбросил ей толстый канат с широким узлом на конце. Она крепко держалась за канат и, упираясь ступнями в стены лаза, метр за метром поднималась вверх. Когда она высунула голову на поверхность, яркий свет ослепил ее. Она выпустила из рук канат и чуть не полетела обратно. В последний момент он успел схватить ее за руку и резко выдернул наружу. Она упала. Почувствовала на лице холодный снег. Не открывая глаз, попыталась встать. Вспомнились слова матери: «Надень ему повязку, прежде чем он выйдет наружу. Поняла? Прежде чем он выйдет из клетки! Иначе он ослепнет. Повтори, что ты должна сделать!».

Он помог ей встать. Она осторожно приоткрыла глаза. Он завалил ветками и обломками стены вход в склеп. Тщательно замаскировал его комьями смерзшейся земли. Подал руку, и они пошли вперед. Она не узнавала мест, мимо которых они проходили. Он был прав. Повсюду был лишь пепел, присыпанный снегом.

Они добрались до Ратушной площади. Кройцкирхе сгорела полностью. Санитары в белых халатах с красным крестом на спине и марлевых повязках на лицах вынимали из грузовиков трупы и складывали длинными рядами. К рукам, ногам, шее, а если ничего этого не было, то к тому, что оставалось, прикрепляли

желтые картонные бирки с номерами. Вся площадь была покрыта телами. По примыкавшим к ней улицам шли люди, толкая тачки с мертвыми. Клали их рядом с лежавшими на площади и подходили к молодому офицеру в черном мундире с моноклем в глазу, который прохаживался вдоль узкого прохода между рядами мертвых тел. Он снимал с левой руки и выдавал желтые бирки, и люди возвращались к телам, которые только что сложили на площади. Стояла мертвая тишина, никто между собой не разговаривал. Слышны был только скрип тачек и урчание моторов. Никто не плакал. Через минуту стало ясно, почему. Площадь со всех сторон была оцеплена солдатами. Они сообщали всем, что опознание погибших состоится в воскресенье. Сегодня была пятница. Испуганные люди при виде солдат с автоматами покорно соглашались ждать до воскресенья, когда с половины двенадцатого им позволят опознать брата, мать, отца, мужа или детей. Ровно в одиннадцать тридцать, в воскресенье, 18 февраля 1945 года можно будет начать скорбеть. Раньше нельзя.

«Что же такое случилось? – думала она. – По какой причине, когда и что именно должно было произойти, чтобы мой народ, немцы, позволил себя до такой степени подчинить?! Предписаниям, уставам, распоряжениям, определениям, запретам, постановлениям, правилам, рекомендациям и приказам. Что должно было произойти в тысячелетней истории испускающей сейчас дух Германии, чтобы она так властно поработила человеческие души, умы и поступки. Страх? Безграничная лояльность по отношению к единому вождю, без которого немцы как нация не могут обойтись?»

Последнее было похоже на правду. В школе им твердили, что германцы обязаны своим национальным самосознанием, чувством единения сражению с римским легионом в лесу под Тевтобургом, недалеко от сегодняшнего Оснабрюка. Тогда, почти два тысячелетия назад, через девять лет после рождения Христа, настало время Первого рейха. Германцев объединил и повел к славе и успеху первый «непобедимый фюрер» Герман дер Херускер. Под его водительством они продемонстрировали свое мужество, победили и не поддались «губительной заразе римского декадентства». Теперь, почти два тысячелетия спустя, во времена Гитлера история должна была повториться. Но не повторялась, несмотря на то, что римляне во главе с Муссолини стояли плечо к плечу с германцами. Гитлер часто ссылался на миф о Германе, называя его «спасителем германцев» и «первым освободителем немцев». В последнее время, не желая задеть Муссолини, он говорил об этом в более завуалированной форме. Но все же говорил. А если, по политическим причинам, молчал, за него кричал об этом Геббельс.

Может, все дело в маниакальной любви немцев к порядку? А может быть, нет никакой причины? И это просто унаследованный от матери Германии врожденный порок. Как восемь пальцев на руках – вместо десяти.

Невысокий толстый солдат в мундире вермахта приподнял автомат, преграждая ей дорогу.

– Если вы, господин офицер, думаете, что я буду дожидаться воскресенья, чтобы попрощаться со своей матерью, то вы сильно ошибаетесь. У вас есть три варианта. Либо вы меня сейчас расстреляете и положите на этой площади с желтой биркой на руке, либо опустите свою пушку и пропустите меня, либо... – она понизила голос.

– Либо что? – выдавил из себя солдат, опуская автомат.

– Я вам скажу, но только на ухо. Не могли бы вы, господин офицер, приподнять свою замечательную каску? – прошептала она, пытаясь кокетливо улыбнуться.

Солдат обернулся. Офицер с моноклем был довольно далеко. Солдат торопливо снял каску и придвинул ухо к ее губам. Она зашептала что-то, медленно поглаживая его бедро.

– Вечером, здесь? – спросил он. – И ты точно придешь?

– Да, вечером, здесь, – подтвердила она.

– У тебя десять минут. Если этот чернобровый со стекляшкой в глазу спросит, скажешь, санитарка. Тебя прислали из крематория в Толкевице.

Она обернулась на своего спутника. Он смотрел на нее с ужасом. Она подошла к нему.

– Ты простишь меня? Я должна была это сделать. Я наврала, потому что до воскресенья все равно не доживу. Ты простишь меня? – прошептала она и, не дожидаясь ответа, быстро пробежала мимо солдата на площадь.

Она медленно двинулась вдоль ряда мертвых тел. Четыре ряда состояли из трупов детей. Она прошла мимо, стараясь не смотреть. И вдруг столкнулась с офицером с моноклем. Он стоял и курил сигарету.

– Откуда?! – крикнул он зычным голосом.

– Из Толкевица, – спокойно ответила она.

– О, начиная с воскресенья, вам придется работать в четыре смены, – ответил он, выпуская дым прямо ей в лицо.

– Не угостите меня сигаретой? – попросила она.

Он посмотрел на нее удивленно.

– Вам что, не дают сигарет? – спросил он. – Или ты уже все выкурила?

Потом сунул руку в карман брюк и достал помятую пачку. Пытаясь унять дрожь в пальцах, она вытащила сигарету. И торопливо пошла дальше. Дойдя до последнего прямоугольника у закопченной стены Кройцкирхе, она была уже уверена, что на этой площади тела ее матери нет. И быстрым шагом вернулась туда, где стоял пропустивший ее солдат.

– Сегодня вечером, не забудь! – крикнул он, когда она проходила мимо.

Парень ждал ее. Она взяла его за руку, и они побежали. Когда на горизонте показались обломки кровли Анненкирхе, она вдруг остановилась. Села на развалины стены. Вытащила сигарету. Жадно затянулась.

– Она умерла, да? – спросил он после минутного молчания.

– Умерла...

– Все равно у нее не будет могилы. В Дрездене уже нет мест на кладбищах. Чего ты, собственно, хочешь? – спросил он.

– Я хочу, чтобы все было по-человечески! Понимаешь, по-человечески. Я не хочу, чтобы ее вытащили из восьмого квадрата в четырнадцатом ряду и сожгли в крематории 5А или 19Б в Толкевице.

– Думаешь, ты почувствуешь себя лучше, если ее закопаешь?!

– Вот именно. Мне будет лучше. Так же, как тебе, когда ты думаешь о Бреслау.

– Неправда! Если бы я не знал, где находятся их могилы, я бы похоронил их на своем кладбище. Там, где я сам захочу. Где-то рядом с собой...

Она потушила сигарету и спрятала окурки в карман пальто. Встала. Они пошли по направлению к церкви. Там было пусто, только ветер гонял пучки соломы и рваную бумагу. Она подошла к алтарю. Рядом с обломком каменной балки, оторвавшейся от кровли и убившей ее мать, она заметила каску с огарком свечи. Она прошла в сторону амвона. Ведущая наверх лестница была покрыта мятыми газетами и окурками. Наверху, рядом с балюстрадой амвона, она узнала ботинок девушки в синем платье. Взглянула на алтарь. От распятия остался лишь небольшой фрагмент – скрещенные ступни Христа. На треснувшей мраморной плите алтаря, прямо у его основания, лежал перепачканный калом, перевернутый вверх дном детский горшок. На цоколе алтаря кое-где виднелись коричнево-красные полосы засохшей крови. Она вспомнила, как Цейс вытаскивал из кобуры пистолет...

И быстро сбежала вниз.

– Уйдем отсюда! – крикнула она, схватив его за руку, и потащила к выходу из церкви.

Площадей, на которые свозили трупы, было много. Практически любой свободный от развалин клочок земли или мостовой становился чем-то вроде общественного морга. Но совсем рядом с этими страшными местами, смирившись с ними, словно так и должно было быть, постепенно возникала новая жизнь. Мало кто боялся новых налетов. Люди сооружали из камней и обломков стен заборы вокруг тех мест, где когда-то стояли их дома. Отгораживались. Обозначали свою территорию. Некоторым счастливым удалось раздобыть палатки. Они поставили их, притащили топившиеся углем печки, готовили еду или просто сидели, ожидая наступления завтрашнего дня.

Те, кому не повезло, разводили костры и грелись возле них. На немногочисленных улицах, по которым еще можно было проехать, время от времени появлялись военные автомобили, мотоциклы или конные повозки, которые пригнали в Дрезден из соседних деревень. Из военных машин через мегафоны людей призывали не разводить открытый огонь в подвалах домов с газовым оборудованием, грозили суровым наказанием за мародерство и запрещали «под страхом смерти без суда и следствия» оказывать помощь «лицам неарийского происхождения». Но чаще всего выкрикивали пропагандистские лозунги о том, что «никто не одолеет непоколебимую немецкую гордость, и месть будет триумфом Рейха, фюрера и народа».

Она держала его за руку, и они, вместе с другими, ходили от площади к площади. Каждый раз она вытаскивала бирку, полученную от санитаря, когда тот забирал ее мать из церкви, и показывала тому, кто следил или делал вид, что следит, за порядком на таких площадях. Большинство даже не смотрели на бирку. Она тщательно разглядывала бесконечные ряды трупов и возвращалась к нему. Они шли дальше. На очередную площадь.

Когда начало темнеть, они вернулись в свой склеп.

Дрезден, Германия, утро, воскресенье, 25 февраля 1945 года

Вдруг ей показалось, что она слышит звон церковных колоколов. Она вскочила с шинели и стала расталкивать его, пытаясь разбудить.

– Ты слышишь?! – кричала она. – Ты слышишь это?!

– Слышу, – буркнул он, не открывая глаз. – Зовут на службу. Что в этом странного? Сегодня же воскресенье. Ложись. Давай еще немного поспим.

– И ты еще спрашиваешь, что тут странного? Как это что? Опять звонят в колокола, как когда-то, до тринадцатого февраля. Вставай скорее, пойдем туда...

Она подбежала к выходу из склепа и прислушалась. Звонят! Настоящие церковные колокола. В Дрездене! Как когда-то...

За последние десять дней не было ни одного налета. Четверо суток потребовалось, чтобы погасить пожары, вспыхнувшие во время последней бомбардировки. Город, словно оглушенный тишиной, постепенно приходил в себя.

Они выходили на улицу каждый день. То вместе, то поодиночке. Вечером возвращались в склеп. Она больше не искала мать. Однажды вечером, когда он играл для нее очередной концерт, она вдруг поняла, что смирилась с мыслью упокоить мать где-нибудь рядом с собой. Независимо от того, как далеко это будет от Дрездена. Он совершенно прав: могилы близких расположены там, где ты по ним в данный момент тоскуешь.

Теперь, если она кого-то и искала на развалинах Дрездена, то это был Лукас. Она внимательно вглядывалась в лица всех маленьких мальчиков с иссиня-черными волосами. А еще высматривала Маркуса и Гиннера. Иногда приходила к одиноко торчавшей стене на Грюнерштрассе, 18 и, усевшись на пороге, ждала. Это было единственное и самое главное место, кроме Анненкирхе, которое их объединяло. Она надеялась: если только они живы, им тоже захочется сюда прийти. И иногда оставляла на пороге страницы, вырванные из тетради. Назначала в них время и место встречи и сверху прижимала страничку камнем, чтобы не улетела. Но на следующий день всякий раз находила листки на том же самом месте.

Они не просто жили в склепе, они каждый день боролись за существование. Самое важное было – выжить. Пережить день, продержаться ночь. Не голодая, не умирая от страха, в тепле. Они не голодали. Им было тепло с тех пор, как они раздобыли чугунную угольную печь с длинной трубой, которую вывели в тоннель, служивший входом в склеп. Она редко задумывалась о будущем, которое не умещалось в рамки одного дня. В последний раз она размышляла об этом три дня назад, поздним вечером. Исключительным вечером исключительного дня. Они выпили немного домашнего вина, которое заработали, расчищая от завалов подвал. В последнее время за любую работу в Дрездене платили, главным образом, продуктами, алкоголем или сигаретами. Иногда углем или дровами. Они, в отличие от других, брали еще и книги. Один из гробов в их склепе был полон книг. Он называл его «наш домашний книжный

шкаф». Неделю тому назад он полдня проработал на заливке фундамента под новый дом. За работу попросил матрац, постельное белье и одеяло. В тот вечер он вернулся, преисполненный гордости, как пещерный человек, которому удалось добыть мамонта. Прежде чем спуститься вниз, он велел ей закрыть глаза. Положил одеяло и белье на похожую на маленький алтарь тумбочку. Потом подошел к ней, поцеловал в веки и подвел к «алтарю». Она прижалась к нему и поблагодарила. Теперь она будет спать как принцесса. На постельном белье! На настоящем матраце, укутавшись настоящим пуховым одеялом в настоящем пододеяльнике! Таком же, как у бабушки Марты.

Неделю спустя они отметили это событие бутылкой домашнего смородинового вина.

– Сыграй мне, пожалуйста, – попросила она, – что-нибудь особенное, торжественное, какую-нибудь симфонию – в честь одеяла и простыни...

Он взял в руки скрипку. Как всегда, с благоговением. Некоторое время глядел на инструмент, будто видел впервые. Это был необыкновенный взгляд. Иногда он смотрел так и на нее. Потом проводил пальцами по деке, словно заново изучая ее. Как будто ему предстояло сыграть самый главный в жизни концерт. Сначала она услышала его дыхание, потом – звук смычка, скользящего по струне.

Он играл...

Она слушала, не сводя с него глаз. Музыка смолкла, но он продолжал стоять с низко опущенной головой, будто сам удивился, что все закончилось. И молчал. Молчание длилось еще какое-то время, он был не здесь и казался ей в эти минуты недоступным.

– Ты смогла бы рассказать эту музыку? – спросил он, возвращаясь.

– А ты думаешь, музыку можно рассказать?

– Я себе ее постоянно рассказываю. Даже во сне...

– Ты действительно хочешь, чтобы я рассказала? – спросила она. – То, что только что услышала?

Она закурила. Поджала ноги и положила подбородок на колени.

Она рассказывала...

– Необыкновенный монолог чувств, может быть, диалог... Высокие звуки проникают в сердце, подкрадываются и окутывают его как теплый шарф, как нежность, и проливаются как слезы или капли дождя. А может, это туман... Испытываешь одиночество, когда ты с кем-то, но при этом сам по себе, все вокруг сумрачное, но еще не стемнело, какая-то осенняя серость, предзакатный час, когда еще не зажигают огней, пьют горячий чай, и вечер наводит на все вокруг летаргический сон. Потом неожиданно, с каждой секундой все меняется, становится другим. Страстные чувства вступают в противоречия, слышен шум города, стук колес поездов. Я нахожу себя в этом мире. Мне холодно, но дрожь проходит. Остается тоска и страсть, радость, спонтанность желания, влажные поцелуи, чувственность, торопливое дыхание, стук сердца, двух сердец, вот она и он, темно, поздняя ночь, они бегут и смеются, дождь промочил их одежду и волосы, они куда-то прячутся, слышны гудки поездов, у них мокрые лица, взгляды, вдруг проскакивает искра, прикосновения, страсть, поцелуи, минута, мгновение, мокрые лица, мокрые волосы, мокрые губы, переплетение судеб, путанные мысли и еще более путанные чувства. И мир, пульсирующий жизнью, пробужденный весной, одурманенный маем, все живет, бежит, мчится дальше, а они пребывают здесь и сейчас. Потеряться, ничего при этом не потеряв. Просто целиком и полностью раствориться в этом мгновении...

Она потянулась за следующей сигаретой. Он остановил ее руку.

– Это был Паганини, – сказал он удивленно, – еще никто мне его так не пересказывал. Мне казалось, что музыка, особенно его музыка, начинается там, где слова бессильны. Видимо, я ошибался. Поэтому не кури сейчас, прошу тебя!

– Почему?

– Потому что я хочу кое о чем тебя попросить. Сейчас, сию минуту. Меня словно током дернуло. Ты сделаешь это для меня?

– Не знаю...

– Ты можешь нарядиться для меня в платье? – спросил он. – Я хочу сейчас, в феврале, увидеть, как бы ты могла выглядеть в мае. Мне хочется на какое-то мгновение продлить очарование, – прошептал он.

– Ты с ума сошел... – усмехнулась она, легонько стукнув его смывком по голове.

Она открыла свой чемодан и, копаясь там, наткнулась на листок, вырванный из записной книжки матери. На нем был адрес тети Аннелизе. Она вспомнила слова матери: «В деревне всегда легче пережить такие времена, в деревне нет бомбоубежищ, зато есть молоко...».

– Как далеко от Дрездена до Кельна? – спросила она, надевая белое шелковое платье в зеленый цветочек. – Ты мог бы отвернуться, когда я переодеваюсь. Мы ведь договорились...

На этот раз он не отвернулся. Она не нашла в чемодане подходящих трусиков, лифчик тоже не годился. Комбинации у нее не было. Под это платье она обычно надевала комбинацию. Материал был очень тонкий, почти прозрачный. Она повернулась к нему спиной и разделась догола. И быстро, через голову, натянула платье. Если бы не упругая грудь, платье повисло бы на ней, как на вешалке. Она с радостью отметила, что очень похудела. Встала на цыпочки. К этому платью она всегда надевала обувь на высоком каблуке. И открывала лоб, стягивая волосы в хвост, а мама одалживала ей свою белую сумочку.

– Ты не могла бы сейчас встать поближе к огню? Получатся такие, как ты говоришь, насыщенные полутона... Надеюсь, свет упадет как раз на твою грудь.

Он совершенно не разбирался в полутонах. К тому же она прекрасно поняла, чего он добивается. Мужчины любят глазами. Даже такие благодарные слушатели, как он. На цыпочках, почти как балерина, она подошла к гробу, на котором стояли зажженные свечи. В их свете платье стало совсем прозрачным.

– Как ты догадалась? – спросил он, вглядываясь в нее и нервно облизывая губы.

– Я немного, скажем так, разбираюсь... в фотографии, – ответила она кокетливо.

– Ты просто красавица. Тебя невозможно не желать, – сказал он быстро, протянув руку за бутылкой вина.

Она вернулась и села рядом с ним по-турецки, прикрыв подолом платья колени. Он протянул ей бутылку.

– Так все-таки скажи мне, далеко ли до Кельна? – спросила она, отпивая из бутылки.

– Я постепенно влюбляюсь в тебя, – прошептал он, глядя ей в глаза.

– Это из-за мая, который только что был здесь. В мае все влюбляются, но к ноябрю чаще всего обо всем забывают.

– Знаешь, ты ведь до сих пор так и спросила, как меня зовут. Я для тебя то «парень», то просто «ты».

– Я знаю, парень. Я спрошу тебя об этом, когда... когда ты станешь для меня самым главным. А пока я не хочу больше знать ничьих имен.

Он молча встал и подошел к чугунной печке. Убедился, что жестяная труба находится ровно посередине тоннеля, ведущего в помещение, добавил угля и поставил на печь котелок с водой.

– Помоешь меня сегодня? – спросила она тихо.

«Купание», как они это называли, стало одним из их вечерних ритуалов. Так же, как его скрипичные концерты и ее чтение вслух. Он кипятил воду в котелке, во второй наливал холодную воду. Она ложилась на постель. Сначала он умывал ей лицо, потом раздевал ее и фланелевой тряпкой обтирал все тело. Грудь, живот, ладони. Тряпка никогда не бывала слишком горячей или слишком холодной. Потом она переворачивалась на живот, и он обмывал ей шею, спину, ягодицы, ляжки, икры и ступни. И наконец медленно целовал ее в то самое волшебное место, в ямочку между спиной и ягодицами. Иногда, после «купания», он осторожно массировал те места на ее теле, где еще оставались синяки. И смазывал их топленым салом. Но больше ни разу не случилось между ними то, что произошло той первой ночью, которую они провели вместе. Даже в

разговорах они к этому не возвращались.

Он стоял у печи и ждал, пока нагреется вода.

– Кельн находится примерно в шестистах километрах от нас. Может, чуть меньше. В общем, очень далеко. А почему ты спрашиваешь?

– Потому что я хочу представить тебя своим родственникам. Ты поедешь со мной?

– Туда сейчас не доехать. Разве что как-нибудь пешком... Все идет к тому, что прежде чем мы там окажемся, туда войдут американцы и англичане.

– А здесь, в Дрездене, будут русские. Ты кого предпочитаешь?

– Трудно сказать. С уверенностью могу сказать только, что не русские разбомбили Дрезден. Эту бойню устроили англичане. Американцы просто помогали. В Дрездене живет, то есть жили – до тринадцатого февраля – около трехсот тысяч человек. Еще триста тысяч прибыли сюда за последние месяцы с востока, главным образом из Бреслау. В основном старики, женщины и дети, потому что мужчины на фронте. До тринадцатого февраля Дрезден напоминал мне битком набитый людьми трамвай в час пик. А Черчилль решил развести в этом трамвае костер! За две ночи он сжег на открытом огне десятки тысяч людей. Не знаю точно, сколько. Пятьдесят?! Восемьдесят?! А может, сто! Тринадцатого и четырнадцатого ночью в моем холодном склепе земляной пол был такой горячий, что я не мог ходить по нему босиком! И в какой-то момент вынужден был выбраться наверх, потому что предпочитал погибнуть от осколка бомбы, нежели свариться заживо. И знаешь, что я увидел на поверхности? Поначалу мне показалось, что я от страха лишился рассудка и у меня начались галлюцинации. Но это не был мираж. Я увидел летящее по воздуху стадо коров! Разница в температуре между Дрезденом и окрестными деревнями была так велика, что возникший в результате этого торнадо, циклон, ураган, не знаю, как это назвать, всосал в себя этих коров и прямо с поля забросил в город.[4 - Исторический факт, подтвержденный многочисленными свидетелями, пережившими бомбардировку Дрездена. (Прим. автора.)] Но и этого Черчиллю было мало. В среду утром, четырнадцатого, у меня закончилась вода. Я шел по тому, что осталось от Дрездена, и в конце концов оказался на берегу Эльбы, запруженном толпами женщин и детей. Я собственными глазами видел, как

низко летевшие самолеты расстреливали их, как уток, из бортовых пулеметов. Нет, это не русские разбомбили Дрезден! – добавил он в ярости.

– Это факт. Русские ничего не бомбят. Может, у них самолетов не хватает, а может, просто они так договорились с Черчиллем и Рузвельтом. Второе больше похоже на правду. А ты слышал от беженцев, особенно от женщин, что происходит, когда одичавшие русские солдаты входят в разрушенные города? В твой Бреслау, например?

– Думаешь, американцы и англичане поступают иначе?

– Да, я думаю, американцы другие. У них не было Сталина, не было репрессий и голода. В них нет столько ненависти. Американцы совсем недавно присоединились к этой войне. Их никто никогда не бомбил, никто не расстреливал всех мужчин в деревне, никто не загонял людей, стариков и младенцев, в синагогу или церковь, чтобы потом забаррикадировать двери и заживо сжечь. Их не заставляли копать себе могилы, не ставили потом на колени у края ямы и не убивали. Всех по очереди. Немцы не поступали так с американцами. Но делали это с евреями, поляками, а потом и русскими. Это делали немцы. Поэтому русские имеют право ненавидеть нас так, как они нас ненавидят. Если бы я была русской женщиной или русским солдатом и встретила бы на своем пути тебя, а ты был бы в немецкой шинели, я убила бы тебя. Без малейших угрызений совести. Только потому, что ты был бы похож на немца.

Он молчал и испуганно смотрел на нее. Потом снял котелок с огня и поставил его на землю рядом с печкой. Задул все свечи и лег рядом.

Они не могли заснуть. Она прижалась к нему и положила его руку себе на грудь.

– Расскажи мне что-нибудь... – прошептала она.

– Грустное можно? – спросил он.

– Можно, но только про любовь. Рассказывай, – попросила она, целуя его ладонь.

– Года два тому назад я влюбился, платонически, в одну брюнетку, – начал он.

– Она красивая? Сколько ей лет? Как ее зовут?

– Красивая? Нет, вовсе нет. Мне вообще нравятся преимущественно блондинки. Но это ты уже знаешь, – прошептал он ей на ухо. – Ее звали Софи, она была твоей ровесницей. Софи Шолль. Ты, наверное, слышала о ней?

– Нет. Не слышала. А почему «звали», почему «была»? – спросила она.

– Потому, что она умерла. Ее гильотинировали. Два года тому назад...

– Как это?! – воскликнула она и даже села. – Как это гильотинировали? Почему?! Дай мне, пожалуйста, сигарету.

Он прикурил две сигареты. Протянул одну ей и начал рассказывать.

– Ровно два года тому назад, день в день, восемнадцатого февраля 1943 года, Софи вместе со своим братом Гансом раздавала студентам листовки у входа в университет Людвиг Максимилиана в Мюнхене. С призывами к свержению нацистов. И с протестом против войны. Там, у входа в университет, в феврале сорок третьего! Ты можешь это себе представить?! Весь рейх, несмотря на ряд поражений, готов был наложить в штаны от страха перед гестапо, а они, среди бела дня, раздавали листовки. Их задержал сторож и отвел к ректору университета профессору Вальтеру Вюсту, который, кстати говоря, был специалистом по арийской культуре и высокопоставленным офицером СС. Сотрудники гестапо появились в кабинете ректора уже через пятнадцать минут. Приехали на четырех автомобилях. После двух дней допросов и пыток в главном управлении СС во дворце Виттельсбах в Мюнхене Софи предъявили обвинение. А еще два дня спустя, в полдень двадцать второго февраля 1943 года народный суд вынес Софи и ее брату Гансу законный приговор: смертная казнь. Законный?! Именно. Без права на апелляцию, без адвокатов. И Кристофу Пробсту, который вместе с братом и сестрой Шолль составлял листовки и которого гестапо выследило и доставило на процесс, тоже. Еще через пять часов, ровно в семнадцать ноль-ноль, приговор привели в исполнение. На гильотине.

Он замолчал. Прикурил еще две сигареты.

– У нас осталось немного вина? Принесешь? – попросила она дрожащим голосом.

Он встал, принес зажженную свечу и остатки вина в бутылке.

– Здесь совсем мало, – сказал он, – оставь мне глоточек.

– Откуда ты все это знаешь? Про эту Софи? Откуда, черт побери? Почему я об этом ничего не знаю?

– Эту информацию скрывали от прессы и радио. Это могло плохо отразиться на умонастроениях молодежи. Особенно после событий под Сталинградом. А я знаю об этом от Ральфа. Это мой друг. Он в последнее время жил в Мюнхене. Как и я, он родился в Бреслау, но, когда мы были в старших классах гимназии, его родители переехали сначала в Нюрнберг, а потом в Мюнхен. Он был сокурсником Ганса, брата Софи, по медицинскому факультету. И знал все из первых уст. Мы иногда переписывались. Ральф так и не вступил, хотя рассматривал такую возможность, в «Вайссе Розе». К счастью для себя. А может быть, и для меня. Письма всех членов «Вайссе Розе», которые были под подозрением у гестапо, перлюстрировались.

– А что это за «Вайссе Розе»? – перебила она.

– Была такая организация, «Белая Роза». После казни Шоллей и Пробста она прекратила существование. Оппозиционная к режиму организация, которую Софи основала в Мюнхене. Ральф преклонялся перед этой девушкой. Помнится, однажды он даже прислал мне в письме ее фотографию. Я тоже влюбился, но не в саму Софи, а в ее отвагу. Она восхищала меня...

– У тебя есть эта фотография?! – прервала она его.

– Нет. Когда до меня дошла информация о процессе и казни Шоллей, я сжег все письма от Ральфа. Мне было так страшно, что я даже попросил его какое-то время не писать мне. Иногда мне кажется, что я просто трус... – вздохнул он.

Потом задул свечу и добавил:

– А теперь давай поспим. Рано утром пойду разбирать завалы, я уже договорился. У нас нет ни вина, ни угля, ни свечей. Я не хочу топить печку книгами...

– Даже и не думай. Я никогда этого не позволю! Лучше разрубить и сжечь эти трухлявые гробы, – ответила она, прижимаясь к нему. – Как ты думаешь, Бог часто плачет? – спросила она после минутной паузы.

– Если Бог есть, Он должен плакать постоянно. Рыдать он должен, блядь! Он должен выть и на коленях просить у Софи прощения...

Она помнит, что в ту ночь так и не сомкнула глаз. Ей было тревожно и грустно. Больше всего она страдала от собственного бессилия. История Софи заставила ее понять, что ничье сопротивление – ни ее самой, ни матери, ни бабушки, ни отца – всем ужасам, зверствам, лицемерию, безумию и извращениям последних лет не имеет абсолютно никакого значения. Оно не выходит за пределы пассивности и тихого примирения с судьбой. И ничего не дает другим людям. Потому что все они, как и те, кто разделял их взгляды, повторяли, что ничего нельзя сделать. Все бессмысленно, никто ничего не заметит, а их слишком мало. Это как укус пирании. Маленькой, безобидной рыбки. Безобидной, пока она одна, но смертельно опасной, когда она кусает вместе с тысячами других, вьющихся вокруг жертвы. Но для этого одна из пираний должна рискнуть и укусить первой. Чтобы появилась кровь, запах которой тут же привлечет остальных. Софи Шолль, в отличие от нее, не смирилась. Она разгадала этот эффект пирании и... погибла. Она не побоялась пожертвовать жизнью.

Однако эта жертва ни к чему не привела. Нет, неправда! Ведь даже то, что она сейчас об этом думает, хоть и не особенно, наверное, важный, кое-что значит. Придет время – она верила в это, – и все немцы узнают о Софи, ужаснутся и устыдятся настолько, что назовут ее именем школы, поставят ей памятники. Так и будет. Она верила в это...

Теперь, после того как она узнала о героическом сопротивлении Шоллей, иначе стали выглядеть бесконечно повторявшиеся Геббельсом летом прошлого года сообщения о неудачном покушении на фюрера в его самом засекреченном убежище «Волчье логово». Она помнила, как в конце июля сорок четвертого года только и жила этими сообщениями. Чем чаще и презрительнее Штауффенберга, организатора покушения, называли «подлым предателем народа и фюрера, вероломной гнидой в мундире офицера вермахта», тем больше она им восхищалась. Мать совершенно не разделяла такого восторга. Она считала, что потомок аристократического рода, граф, полковник Клаус фон Штауффенберг – обычный, как она это сформулировала, «путчист».

Самовлюбленный эгоцентрист. И уверяла, что Штауффенберг никогда не скрывал своего крайнего шовинизма и восторгался военными успехами рейха. Ему необходимо было являть собой образец преданности нацизму, чтобы в столь молодом возрасте получить звание полковника и право сидеть за одним столом с Гитлером в самом секретном, самом охраняемом бункере – ставке. То, на что отважился граф Штауффенберг и объединившиеся вокруг него офицеры, не было героизмом. Это была обычная, «до обидного провальная» – как выразилась мать – попытка дворцового переворота с целью отстранить от власти теряющего доверие народа Гитлера и заменить его кем-то другим. Кем-то, кто не обязательно будет лучше, скорее, окажется даже хуже своего предшественника. Потому что это будет новый, еще «голодный» игрок, и он будет стремиться как можно скорее добиться убедительных успехов на пути к «окончательной победе тысячелетнего Рейха». Штауффенберг совсем не герой, считала мать, он точно такой же нацистский преступник, как и Гитлер. Она помнила, как в конце их бурной ссоры на эту тему мать добавила: «Если бы папа был жив, он сказал бы тебе то же самое, только был бы при этом спокойнее и убедительнее».

Она осознала, что была такой же трусихой, как и он. Радость от его подарка, необыкновенное упоение его музыкой, чувство блаженства и удовольствия во время «купания», возбуждение от беседы с ним исчезли без следа. Сейчас она ощущала пустоту и разочарование в самой себе. У нее это всегда вызывало тревогу и страх. И бессонницу.

Она осторожно, не желая его будить, выскользнула из-под одеяла. Босиком подошла к отверстию ведущего в склеп тоннеля. Уселась на землю, прислонившись спиной к еще теплой чугунной печке. Она тосковала по матери. Ей так сильно хотелось, чтобы та была рядом! Она мечтала прижаться к матери и говорить с ней, расспрашивать ее, рассказывать о себе и плакать. Этой бессонной ночью, впервые после смерти матери, она почувствовала себя маленьким осиротевшим ребенком. Беспомощным, забытым, брошенным. Она закрыла глаза, закурила сигарету. Она не выносила взглядов пустых глазниц этих ужасных черепов. В слабом свете зажженной спички они были похожи на оскальпированных и тщательно освежаванных персонажей рисунков Дюрера. Сейчас они пугали ее даже больше, чем в свете свечей или дневном полумраке склепа. Через несколько минут она вернулась и укрыла его тулупом. Он не спал. Прижал ее к себе и поцеловал в лоб.

– Мы поедем в Кельн. Когда захочешь, – прошептал он ей на ухо.

Какая радость! Церковные колокола. Как когда-то...

Она умылась ледяной водой из таза. Стянула резинкой волосы. Смазала губы топленным салом. Вытащила фотоаппарат. У нее оставались еще три кадра. Сегодняшний день этого стоил...

Колокола звонили не переставая. В какой-то момент она подумала, что этот набат не похож на призыв к молитве. Он звучал скорее как сигнал тревоги. Она взглянула на часы. Без четверти одиннадцать. Колокола били уже более получаса. Она подошла к нему.

– Вставай. Вставай немедленно! В городе что-то происходит. Мне кажется, что-то случилось...

Он вскочил на ноги. Выпил воды из кружки, стоявшей рядом с тазом. Надел шинель. Они выбрались наружу. Пошли в сторону Ратушной площади. Добрались до гостиницы на Прагерштрассе. Это было единственное здание, которое каким-то чудом пережило бомбардировку почти без повреждений. Они миновали сожженный дотла центральный вокзал. И услышали стук колес проезжавших поездов. Это было для них более чем невероятно. Подумать только, спустя два дня после страшных налетов через Дрезден шли, один за другим, военные эшелоны – на восток. Что за странные обстоятельства заставили американцев и англичан сбрасывать бомбы на детские сады, ясли и больницы и не попадать по железнодорожным путям...

Перед ними были руины «Реннера». До тринадцатого февраля это был самый большой дрезденский универмаг. Ратушная площадь была оцеплена гестапо. Колокола все звонили. Она почувствовала запах бензина. Из военного грузовика до нее донесся усиленный мегафоном хриплый лающий голос: «По распоряжению гауляйтера Дрездена Мартина Мучмана, во избежание вспышки инфекционных заболеваний в городе тела погибших, находящиеся на площади, должны быть кремированы. Всем гражданам в соответствии с распоряжением следует...»

Она не стала слушать дальше. Посмотрела на площадь. На высокую, доходившую до уровня третьего этажа пирамиду тел карабкались солдаты. И поливали ее бензином из канистр. Потом они спустились вниз и быстрым шагом

удалились в сторону покрытой сажей стены Кройцкирхе. Среди мужчин, стоявших в шеренге под стеной церкви, она узнала офицера с моноклем. Он наклонился и сигаретой поджег бикфордов шнур, вдоль которого побежали искры. Через мгновение они услышали грохот взрыва, и желто-оранжевая стена пламени заслонила пирамиду.

Они стояли, прижавшись друг к другу. Иногда она отрывала голову от его плеча и поглядывала на площадь. Когда над пирамидой стал подниматься сначала серый, а потом черный дым, она отпустила его и потеряла сознание.

Поздно вечером, перед заходом солнца они вернулись в склеп. Запаковали вещи, какие смогли уместиться в ее чемодане и его брезентовом рюкзаке. Собрали свечи, в два ситцевых мешка сложили снедь, что хранилась в прикрытой соломой и камнями яме наверху, у входа в тоннель, – это был их холодильник. Кусками плотной бумаги обернули бутылки с водкой и вином. Когда они собрались выйти из склепа, была уже полночь.

Лежа рядом без сна, она всегда прислушивалась к звукам, доносившимся с улицы. И помнила, что больше всего военных эшелонов проходит через город ближе к полуночи.

– Я никогда не забуду это место, – сказал он, оглядывая склеп. – Трудно поверить, но я был здесь счастлив...

Он выбрался сквозь тоннель наружу. Вытянул жестяную трубу печки и опустил ее вниз. Потом с помощью толстой веревки вытащил их поклажу. Наконец бросил веревку ей. Они замаскировали вход в тоннель. Как всегда, когда оставляли свое убежище.

Медленным шагом они направились к развалинам вокзала.

Дрезден, Германия, сразу после полуночи, понедельник, 26 февраля 1945 года

Они шли вдоль железнодорожного полотна. Со стороны Байришештрассе вокзал был оцеплен солдатами вермахта и железнодорожниками, поэтому они не

решились воспользоваться входом с Винерплатц. Если молодой человек с руками и ногами, в призывном возрасте, без мундира, в городе вызывал только любопытство, то в случае официальной проверки документов он подвергался серьезной опасности.

Они остановились в конце платформы, у небольшой кирпичной будки с зарешеченными окнами, похожей на сторожку. Поблизости был бетонированный колодец. Из крышки колодца торчала длинная оцинкованная труба. Внутри будки горели свечи. Она увидела фигуру солдата. Достала из чемодана две бутылки водки и засунула их в карманы пальто. Потом подошла к открытым настежь дверям. Молодой парень в мундире вздрогнул, когда она вдруг появилась на пороге, и протянул руку к автомату. Она заметила, что его ладонь перебинтована. И замерла на месте.

– Послушай, – начала она, – мы с братом должны быть завтра в Кельне. Наша мать умирает. Понимаешь? Мать!

Солдат быстро подошел к ней.

– Что ты здесь делаешь?! – крикнул он.

– Прошу тебя помочь. Я хочу сама закрыть глаза моей матери. Ты поможешь мне?

Парень какое-то время смотрел на нее, потом затащил в будку и захлопнул дверь.

– Я дам тебе за это водки, – сказала она и поставила две бутылки на подоконник зарешеченного окна.

– Это не так просто, – ответил он, поглядывая на бутылки. – Приходи завтра. Я уточню расписание, потому что сегодня...

– Завтра? Завтра может быть слишком поздно! – прервала она его. – Тебе очень больно? – Она подошла к нему и осторожно прикоснулась к забинтованной руке. – Поменять тебе повязку? – предложила она, заглянув ему в глаза.

Солдат улыбнулся и заглянул в кожаную сумку, висевшую у него на плече. Вытащил оттуда мятый лист бумаги и подошел к свече, стоявшей на небольшом деревянном столике.

– В два часа должен прибыть транспорт до Дортмунда. Они будут заправляться водой. В конце состава несколько пассажирских вагонов. У тебя есть еще водка? – спросил он, оторвав взгляд от бумаги.

– Есть.

– Нужно еще две бутылки.

– Почему две?

– Одна для сторожа на путях и одна для сержанта в вагоне. С сержантом будет потруднее.

– А где эти вагоны остановятся?

– Ближе к Будапештерштрассе.

– Перебинтовать тебе руку? – спросила она с облегчением.

– Нет. Я бы предпочел, чтобы ты перебинтовала мне кое-что другое, – ответил парень и заржал.

– Спасибо, – сказала она и поцеловала его в щеку.

– Подожди, – остановил он ее и протянул ей обрывок бумаги. – Отдашь эту квитанцию вместе с водкой сторожу на путях. Это у нас вместо билета...

Транспорт до Дортмунда появился около трех часов ночи. Сторож оказался лысым мужчиной с огромным пузом. Он сначала внимательно рассмотрел бумажку, потом бутылку водки. Вытащил пробку и осторожно сделал маленький глоток. Потом глоток побольше. И только после этого взял у нее чемодан и подал ей руку.

В пассажирском вагоне, в который они вошли, были сняты перегородки купе. Они шли мимо лежавших на полу солдат. Железнодорожник указал им на свободный закуток у стены в самом конце вагона. Они сели на пол. Парень прижался к ней.

Она чувствовала, как он напряжен. С тех пор как они покинули склеп, он не произнес ни слова. Ей очень хотелось, чтобы поезд наконец тронулся. Ей тоже было страшно.

В вагон вошел эсэсовец. Она видела, как он наступает на ноги спящим солдатам. Вот он заметил их. Остановился. Подошел, взял в руки футляр со скрипкой. Открыл его и некоторое времени благоговейно гладил деку.

– Замечательный инструмент, просто замечательный, – сказал он.

Железнодорожник, следовавший за эсэсовцем, прошептал ему что-то на ухо. Эсэсовец снял шинель и сел на пол. Взял смычок. В этот момент поезд тронулся. Эсэсовец начал играть. Стук колес поезда и музыка слились в одно целое.

– Брух никогда бы не стал это так играть. Никогда! – подал голос парень.

– А как, господин гражданский? – спокойно ответил эсэсовец.

Парень встал. Вырвал смычок из рук эсэсовца.

– Вот так! – воскликнул он.

И заиграл. Эсэсовец сидел на полу. Вокруг сгрудились проснувшиеся солдаты. Парень продолжал играть в движении, ходил взад-вперед и играл. Когда он закончил, раздались аплодисменты.

– Вот так нужно играть Бруха, господин эсэсовец. Так! И никак иначе, – сказал он, опуская скрипку.

Солдаты засмеялись. Эсэсовец поднялся. Она видела ярость на его лице. Железнодорожник услужливо подал ему шинель.

Она проснулась от холода. Обнаружила, что лежит на полу вагона, прижавшись к парню. Подняла голову и огляделась. Вагон был пуст. Она встала. Подошла к окну. Вдоль насыпи стояли солдаты. Она подошла к чемодану и вытащила фотоаппарат. Остановилась. Он лежал с перевязанной окровавленным бинтом головой на футляре скрипки. Она нажала кнопку затвора. Укутала его шинелью и вышла из вагона.

Зажмурилась от яркого солнца, отражавшегося от белоснежных сугробов. Медленно пошла вдоль поезда, стоявшего у въезда на виадук. Вдали, за виадуком, она увидела очертания зданий какого-то города. Вдруг слышались громкие окрики. Она увидела ряд ухмылявшихся солдат, стоявших у товарного вагона. Солдаты мочились на сугроб под вагоном. Остановилась. Взяла аппарат. Солдаты заметили ее.

– Ближе, фройляйн, ближе! Это всего лишь члены! – услышала она громкий смех.

Отвернулась и пошла обратно. Пузатый железнодорожник крикнул, что поезд отправляется. Подойдя к вагону, она увидела, как он спрыгивает на снег. Без шинели, одетый только в дырявый свитер.

– Привет, Марта, – сказал он с улыбкой, – я сейчас вернусь. В этом поезде нет туалета...

Он пошел по направлению к развесистому дереву у дороги, ведущей к виадуку. Она почувствовала, что замерзла. Поднялась по ступенькам в вагон. Сидевшие на полу солдаты с любопытством рассматривали ее. Она присела к стене. Закурила. Услышала свист локомотива и почувствовала сильный толчок. Поезд тронулся. Она вскочила на ноги и с громким криком бросилась к окну вагона. С трудом опустила раму и высунулась. На дороге у виадука стоял военный вездеход. Возле него эсэсовец объяснял что-то двум солдатам. Парень стоял между ними, опустив голову. Она подбежала к двери вагона, попыталась открыть ее. Дверь была заблокирована. Поезд набирал скорость. Она вернулась к окну и отчаянно закричала.

– Боже, почему?! Боже... Как тебя зовут?! – крикнула она, когда окно, из которого она высунулась, поравнялось с вездеходом у виадука.

Он заметил ее. Попытался подбежать, но солдаты преградили ему дорогу.

– Береги мою скрипку! Я люблю тебя, Марта! Меня зовут...

Стук колес заглушил его голос. Она видела, как эсэсовец заталкивает его в вездеход. Через минуту виадук исчез за поворотом. Она так и стояла, высунув голову из окна. Ее будто парализовало. Сжимала металлическую окантовку опущенного окна и не могла сдвинуться с места. Через какое-то время один из солдат и решительно потребовал:

– Закрой ты, наконец, это окно! Хочешь, чтобы у нас яйца отмерзли?

Она не реагировала. Солдат силой оторвал ее ладони от оконной рамы и захлопнул окно. Отвел ее в конец вагона, где на полу лежал прикрытый шинелью футляр со скрипкой. Она забилась в угол. Вытащила скрипку. Обняла ее, прижала к груди. И заплакала...

Нью-Йорк, Соединенные Штаты, раннее утро, среда, 14 февраля 1945 года

Его разбудил звонок будильника. Он автоматически протянул руку. Что-то стеклянное упало на пол и разбилось. Он нажал на кнопку, приподнялся и сел на краю кровати. Как всегда, когда звонил будильник. Он ставил его на пять минут позже, чем нужно. Чтобы не было повода оставаться в постели. Так приучил их, его и брата, отец. Он на ощупь нашел кнопку лампы. Протер глаза и посмотрел на пол. Осколки стекла в красной луже, растекшейся большим причудливым пятном, край которого уходил под ковер. В луже валялись когда-то белые и сухие, а теперь бело-розовые мокрые трусы. Кот Мефистофель осторожно, чтобы не намочить лапы в разлитом вине, обнюхивал черный чулок, лежавший рядом с бюстгальтером. Полный разгром...

Он взглянул на будильник. Три часа ночи. А ведь он заводил его на шесть тридцать. В редакции нужно быть около девяти, он это отлично помнил. Если такое еще раз повторится, придется выкинуть этот будильник. Что за времена, даже будильникам нельзя верить. Вдруг, с другого края кровати, он услышал тихий шепот:

– Стэнли, мне так холодно, согрей меня...

Он обернулся. Голая девушка лежала к нему спиной. Длинные черные волосы рассыпались по подушке. Он на секунду задумался. Дорис? Да, это точно Дорис. Важно никогда не путать их имен. Дорис. По журналистской привычке он постарался восстановить события последнего дня.

Сначала она позвонила и оставила информацию у Лайзы, его секретарши. Потом он ей перезвонил и заслушался ее голосом. Он еще не встречал женщины с таким низким и чувственным голосом. И решил, что обязательно должен ее увидеть, хотя все вопросы мог решить и по телефону. Спустя два часа, сразу после полудня, они встретились в редакции. Когда она вошла, Лайза смерила ее взглядом с головы до ног и усадила на диван в «приемной». На самом деле это была никакая не приемная, а некое специальное местечко: сидящего там посетителя можно было незаметно рассмотреть из офиса любого из шефов, прежде чем приглашать на разговор, а сам он должен был почувствовать себя одиноким и никому не нужным в гудящем улье репортеров, секретарш и журналистов. И стать более покладистым. В редакции это неписаное правило жестко соблюдалось. Стало чем-то вроде традиции. «Нью-Йорк таймс» славился своими традициями. И все они охотно приходили сюда утром, а иногда даже ночью, и по этой причине тоже.

Потом Лайза позвонила и сообщила, что некая Дорис П. ожидает его «в приемной». По тону секретарши он почувствовал, что Дорис П. ей не понравилась. Это был хороший знак. Очень хороший! Лайзе не нравились женщины, которые хоть чем-то напоминали пассию ее бывшего мужа. А Стэнли довольно хорошо знал бывшего мужа Лайзы и еще лучше, в мельчайших подробностях, знал его пассию. Так что отлично понимал, почему тот сделал именно такой выбор. Поэтому, продолжая разговаривать с Лайзой по телефону, он посмотрел сквозь стеклянную перегородку своего офиса в сторону приемной. Черное пальто Дорис П. лежало на полу у ее ног. Шерстяное оливково-зеленое платье с длинным рядом пуговиц, начинавшимся сразу под декольте, плотно облегло бедра. Дорис П. Была в черных чулках. Она сидела в приемной, закинув ногу на ногу, курила сигарету и читала свои записи. Он положил трубку и протянул руку к нижнему ящику письменного стола. Сбрызнул ладонь одеколоном и провел ею по лицу и волосам. Через минуту телефон зазвонил снова. Это был Мэтью из спортивной редакции.

– Стэнли, если эта крошка не вписывается в твои планы на сегодняшний день, я готов тебя заменить. Исключительно из уважения к тебе. Мы должны помогать друг другу. Только подкинь мне какую-нибудь тему. Меня тоже интересует

война, поэтому я вытяну из девушки всё что только пожелаешь. И то, чего не пожелаешь, тоже. А потом отдам тебе материал и ее самое. Почти как новенькую. Честно говоря, старик, я не знал, что ты общаешься с девушками с обложки «Vogue»...

Он встал и с телефоном в руках подошел к стеклу. Мэтью, который прижимался носом к прозрачной перегородке офиса, сразу его заметил. Отошел и, высунув язык, демонстративно облизал губы.

– Спасибо, Мэтью, – сказал он весело в трубку, – я всегда знал, что на тебя можно положиться. Но, представь себе, мисс Дорис П. вполне вписывается в мои планы, и я с удовольствием найду для нее время. Ради тебя, точнее говоря, ради твоей Мэри. Может, сделаешь ей сегодня сюрприз и вернешься домой пораньше? Жены это очень ценят. Вот увидишь, Мэри будет тебе благодарна. Может быть, уже сегодня ночью...

В трубке раздались короткие гудки. Он решил, что «сделает материал» с мисс Дорис П., но где-нибудь не в редакции. Ведь здесь такая суeta. Невозможно сосредоточиться. Взглянул в зеркало, втянул живот, в очередной раз подумал, что надо бы похудеть, и вышел. Встал за спинкой дивана и наклонился, осторожно прикасаясь губами к волосам Дорис П.

– Меня зовут Стэнли, спасибо, что вы решили уделить мне свое драгоценное время. С этой минуты я полностью в вашем распоряжении. Думаю, нам лучше поработать вне редакционной суматохи. Что скажете? – спросил он, приблизив губы к ее уху.

Дорис П. небрежно, не поворачивая головы, протянула ему свою сигарету с запачканным красной губной помадой фильтром. Он затянулся. Тем временем Дорис встала, медленно подняла с пола пальто и небрежно бросила на диван. Поставила на него ногу. Приподняв подол платья так, что стало видно бедро, поправила шов чулка. Затем проделала то же самое с другой ногой. Краем глаза он заметил прилипшего лицом к стеклу Мэтью. Потом она повернулась и протянула ему руку. Он вытащил сигарету изо рта, склонился и галантно поцеловал ей тыльную сторону ладони. На бензоколонке у его отца долго работал один поляк по имени Марек. Тот целовал руки всем женщинам. Многие клиентки приезжали заправляться именно к ним исключительно из-за «мистера Марек». Стэнли всегда вспоминал об этом, склоняясь к женской ручке.

Потом они поехали на его машине в Гринвич Вилледж. Он припарковался возле здания, в подвалах которого размещался популярный джазовый клуб «Вилледж Вэнгард». Они быстро подготовили материал и выпили несколько коктейлей. Потом, когда на небольшой сцене появился саксофонист, пропустили еще по парочке, а после – в такси – она весьма активно помогала искать ключ от его квартиры. Искала везде. С большим энтузиазмом, чем он сам. И в процессе поисков расстегнула ему ширинку. Таксист старался делать вид, что ничего не видит, а Стэнли старался не издавать никаких звуков. Когда они подъехали к его дому на Парк-авеню, у Дорис на щеке виднелись следы его спермы, а он сжимал в руке ключ от квартиры, который, как всегда, нашелся в левом кармане пиджака. Таксист получил щедрое чаевые, молча подмигнул и уехал. Они вошли в лифт и, едва двери закрылись, как Дорис, опустившись на колени, снова расстегнула ему ширинку. Между третьим и четвертым этажами он был всего лишь пенисом у нее во рту. Она нажала на красную кнопку, и лифт резко остановился. Она встала с колен, сняла пальто, сбросила оливковое платье, разорвала лифчик и молча вставила его правую ладонь себе между ног. Он разорвал ей трусики, прижал ее лицом к зеркалу лифта и залюбовался ее ягодицами. Дорис, опираясь одной рукой о зеркало, наклонилась и другой рукой осторожно вставила в себя его пенис. Потом нажала на кнопку, и они поехали вверх. Лифт уже остановился, но Стэнли было не до этого. Потом Дорис подобрала все с пола, выхватила у него ключ и повела к квартире. Они шли по темному коридору, держась за руки. Она отперла дверь и тут же захлопнула ее. Они оказались в его спальне. Она, голая, уселась на него сверху, а он гладил ее груди. Потом встал на колени, вошел в нее сзади и забыл обо всем. Она опрокинула его спиной на кровать, лифчиком связала ему руки, и он ощутил ее волосы у себя на животе. Он дрожал, ему было замечательно хорошо, и он шептал ее имя. На мгновение приоткрыв глаза, он увидел, что кот Мефистофель, сидя, как обычно, на радиоприемнике, царапает когтями деревянный корпус, глядя на хозяина. Казалось, кот даже покачивал головой, а на морде у него блуждала знакомая ухмылка. И ему подумалось: «Все-таки хорошо, что коты не умеют говорить...»

А теперь вот окончательно сбрендил дурацкий будильник. Сейчас середина ночи, а женщине в его постели холодно. Хотя ему самому очень жарко. «Да! Это точно Дорис», – подумал он и прижался лицом к ее щеке.

– Я тебя согрею... – Он на мгновение замялся и прошептал, нежно целуя ее в лоб: – Дорис.

– Знаешь, а ты разговариваешь во сне, – сказала она, кладя его руку себе на грудь, – почти так же гладко, как и наяву.

– Нет, не знаю. О чем же я говорил? – испугался он.

Она поднесла его руку к губам и стала целовать ему пальцы. А потом уселась на него сверху, и он снова утратил способность соображать.

– Стэнли, помолчи и выслушай меня. Спокойно. Меня действительно зовут Дорис, ты не ошибся. И ты трахнешь меня через пару минут. Или я тебя трахну. Да, я обязательно тебя трахну, можешь быть уверен. Мужчины становятся совсем другими, когда уверены в этом. Будем считать, что это решено.

Стэнли, ты человек очень впечатлительный. Когда ты во сне начал говорить о Пёрл-Харборе, я встала с постели и ушла на диван, к твоему коту. Мы смотрели на тебя и слушали. А потом я обошла всю твою квартиру, останавливаясь у каждой фотографии, что висят у тебя на стенах. Кот ходил за мной и терся о мои ноги. По этим снимкам я узнала о тебе больше, чем ты сам рассказал о себе вчера, в «Вилледже». То фото... В стенном шкафу... Ты понимаешь, о чем я, да? Оно добило меня. Тебе удалось вытащить на свет божий настоящую квинтэссенцию отчаяния и боли. Я никогда не видела ничего подобного.

Почему ты прячешь ее в нише для чемоданов?! К тому же совершенно пустой, ведь твои чемоданы лежат под кроватью. Ты не хочешь этого видеть? Не можешь? Тебе не хочется смотреть на это, когда ты возвращаешься из офиса и идешь на кухню, в спальню или ванную? Готова побиться об заклад, что так и есть. Потому что иначе ты плакал бы каждый день, как сегодня плакала я. Я вернулась к тебе и стала осторожно целовать твои веки. Я хотела добраться до твоих глаз, которые сначала заметили это, а потом запечатлели на снимке.

Стэнли, ты необыкновенный мужчина, несмотря на то, что ты храпишь, разговариваешь во сне, слишком быстро кончаешь и путаешься в именах женщин, которые побывали в твоей постели до меня. О Пёрл-Харборе ты рассказывал какой-то Жаклин. Но мне это пока что все равно. Со вчерашнего дня ты просто мой знакомый. И это я тебя соблазнила, а не ты меня. Я отсосала у тебя в такси, потому что мне этого хотелось. Повторила это в лифте, потому что так мне захотелось. А через минуту я сделаю это снова, потому что уже чувствую, как во мне рождается желание. Но ты вовсе не обязан звонить мне

после всего этого. Ни сегодня, ни завтра. Нам стоило встретиться уже хотя бы для того, чтобы я узнала, что есть на свете такие глаза, как у тебя.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Как известно, И. В. Сталин никогда никуда не ездил, тем более в Сибирь. (Прим. ред.)

2

In spe – в надежде (лат.). Применяется для обозначения чего-то предполагаемого, чего желают, но оно еще не осуществилось. (Прим. ред.)

3

Кофе с пирожными (нем.).

Исторический факт, подтвержденный многочисленными свидетелями, пережившими бомбардировку Дрездена. (Прим. автора.)

Купить: <https://tellnovel.com/yanush-vishnevskiy/bikini-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)